

Сергей Прокопьев

САГА О
ЦЕНЗОРЕ



18+

Сергей Николаевич Прокопьев

Сага о цензоре

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=51266696

SelfPub; 2020

Аннотация

Герои этой повести живут в XXI веке, но профессия, которой отдали много лет, осталась в прошлом – цензура. Её вроде бы и не было в Советском Союзе, официально точно ни в одном открытом документе не фигурировала. И в то же время была. Работали в ней обыкновенные люди, со своими слабостями и достоинствами, пристрастиями и предпочтениями. В повести рассказывается о тонкостях профессии, о её носителях. Главного героя, от чьего имени ведётся повествование, судьба хорошо помотала – от следователя прокуратуры до грузчика, от грузчика до цензора, был ещё директором вагона-ресторана и снова вернулся в цензуру... Одним словом, есть о чём порассказать, есть что послушать...

Содержание

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Весёлые картинки детства и юности | 5 |
| Следак прокуратуры | 25 |
| Демонстрация без полковников | 55 |
| Замша-атаман | 69 |
| Я и генеральный секретарь | 76 |
| Магический штамп | 95 |
| Воспевание патриархальности | 105 |
| Райка-шпионка | 113 |
| Сверхсекретка | 126 |
| Вагон-ресторан | 139 |
| Вор, НЛО и свобода | 167 |
| Ликвидация | 179 |
| В борьбе с сутяжниками | 204 |
| Точка притяжения | 221 |

Если подуешь на искру, она разгорится, а если плюнешь на неё, угаснет: то и другое исходит из уст твоих.

Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова. Гл. 28, ст. 14

Весёлые картинки детства и юности

На заре жизни, на самой ранней зореньке, со мной приключились два события, одно другого ярче, и в обоих случаях причина казусов – цветы. Первый пассаж из разряда комических и публичных. Театральная тусовка города не один день веселилась, пересказывая случай на сцене. Второй – ещё публичнее по масштабу, новость весь наш сибирский город облетела, но без хи-хи и ха-ха. Трагедия чистой воды, по логике вещей быть ей со смертельным итогом, ан нет, выжил курилка.

Моя мама добрую часть жизни провела на театральных подмостках – актриса, певица. Я вырос за кулисами. С буквальных пелёнок играл на сцене. В тот день давали трагедию с шекспировскими страстями. Чуть ли не «Отелло» в более позднем варианте. Муж, как тот мавр, взбешён, руки тянутся не к перу с бумагой, а к горлу жены-изменщицы. Мама исполняла в спектакле роль служанки или няни, а я – не давая на то согласия – играл ребёнка-сосунка на её руках. Согласия не давал по причине нахождения в возрасте своего персонажа – был сосунком. Подоплёка моего появления на сцене самая прозаическая – маме некуда было меня девать в тот вечер, не с кем оставить дома, взяла вместо куклы бу-

тафорской на сцену.

– Ты спокойным рос, – рассказывала.

Я, надо отметить, к тому знаменательному в моей жизни моменту переступил границу прекрасного возраста, когда поел, поспал, нужду в пеленки справил и никаких других проявлений разума. Продолжая питаться материнским молоком, параллельно начал приобщаться к звуковой сигнальной системе. Не просто тупо глазел на предметы, уже кумекал, что и как называется, и пытался что-то вякать по поводу увиденного. Вставить, так сказать, своё слово.

Играю, значит, в том спектакле, никаких реплик у меня по ходу пьесы не предусмотрено. В сценарии, если и была в отношении меня ремарка драмодела, не дальше «служанка с ребёнком на руках». Другого ничего не прописано. Роль исключительно бессловесная. Дело катится к смертельной развязке. Атмосфера действия раскалилась: плесни водой – зашипит. Неотвратимо приближается роковая сцена. Зал замер. Гробовая тишина. Сейчас свершится непоправимое. Над героиней бедняжкой завис дамоклов меч ревности... Муж в предвкушении возмездия сжимает-разжимает кулачищи... Мама стоит в сторонке, держит меня на руках, а рядом букет на столике. Может, из-за него как раз и разгорелся сыр-бор с дикой ревностью... Любовник, скажем, подарил. Я, конечно, ничего не соображаю в интриге, уставился не на героиню, которой жить-то всего ничего осталось по замыслу автора трагедии, вот-вот клешни мавра сдавят бело-

снежную шейку, я уставился на цветы... И пораженный красотой букета, посреди гробовой тишины, восторженно произношу с маминых рук: «Цыцы!» В переводе значит «цветы». И зал, который только что, затаив дыхание, переживал за судьбу попавшей в переплёт героини, грохнул в приступе смеха. Трагедия мгновенно превратилась в комедию. Играть пьесу дальше не имело смысла.

Любовь к цветам скомкала спектакль. Позже едва меня самого не скомкала. Случай в театре в юной памяти не отложился – произнёсшему вне текста «цыцы» от роду года не исполнилось, тогда как самые первые детские воспоминания едва не стали последними. Жил с бабушкой в здании, где потом располагалась (и располагается по сей день) гостиница «Сибирь». В войну туда поселили эвакуированных из Москвы и Ленинграда. И мою бабушку среди них. Она и в 1955 году там жила, а я с ней. Широленные подоконники цветами в горшках у всех уставлены. Лето, тепло, окно нараспашку. Я уже внятно говорил «цветы», два года как-никак парнишке. Жизнь вошла в пору, когда всё надо в руках подержать. Следуя этой страсти, потянулся за красотой. Воспитывала в тот день меня няня, у окна стоял стул, я на него влез, затем – на подоконник, там цветок, может, герань, бабушка герань любила. Дальше начинаются первые воспоминания детства: лечу вниз головой (этаж, надо сказать, четвёртый), двигаюсь в свободном полёте параллельно наружной кирпичной стене, впереди горшок с цветком, следом я. Кирпичики, швы меж-

ду ними в глазах помелькали-помелькали, а дальше – темнота...

Следующее воспоминание связано с событием, происшедшим только через два года после полёта на тротуар: мне празднуют день рождения. Первый в жизни юбилей стукнул – пять лет. Кто-то из взрослых говорит:

– Смотрите, какой он большой, прямо медведь!

Я прыгаю от радости:

– Я – большой медведь! Я – большой медведь.

Но это случится через почти три года.

А тогда цветочный горшок вдребезги, я рядом в асфальт головой впиваюсь. После чего моя детская головушка раздулась до размеров головы великана, превратилась в результате соприкосновения с тротуаром в сплошной кровавый пузырь. Плюс ключицы поломал и ногу. По сей день левая чуть короче, немного прихрамываю. Но в футбол до первого юношеского разряда доигрался, подумывал в физкультурный институт поступать.

У меня был финт. Сходясь с кем-то один на один, ставил ступню на мяч и делал два-три быстрых, коротких, качающих вправо-влево мяч движения. Провоцирую соперника. И стоило тому начать движение ко мне, мгновенно ловил на противоход, резво пробрасывал себе мяч на ход и нёсся. Догнать мало кто мог. Была взрывная стартовая скорость, отсюда рывок отменный. И удар по воротам с хитрецей... В нём участвовали четыре пальца правой ноги, все, кроме

большого, а по мячу бил чуть по касательной, получалось с подкруткой – влево от вратаря. Мяч, начиная движение по прямой, вдруг менял траекторию... Много позже прочитал в интервью у знаменитого бразильца Ревальдо, у того похожий коронный удар...

Кличку на поле за хромоту получил Гарринча. Даже приглашали тренироваться в группу подготовки команды мастеров. Я учился на первом курсе юридического института, на первенстве факультета по футболу ко мне подошёл тренер профессиональной команды. Единственного выделил из всех и предложил попробовать себя. Но я ещё раньше решил, что спорт – это несерьёзное занятие в жизни, карьеру трудно сделать, талант нужен...

Падение из окна защитило от армии. Когда в военкомат вызвали, все справки о многочисленных переломах достал. Пожаловался на боли в голове, коих не было. Комиссия посмотрела документы и в ужас пришла:

– Какая армия?! Вы и армия несовместимы.

Будто я рвался совместиться. В двадцать пять лет военкомат снова надумал засунуть меня под ружьё. Я во второй раз справки извлёк из дальнего ящика...

В Омске я окончил начальную школу, а потом мы с мамой из Сибири уехали в европейскую часть Советского Союза, в город... Ну, это не важно. Хороший город, хороший юридический институт. Учеба прошла как один миг. Падение на голову не сказалось на содержании черепной коробки. Учил-

ся вполне нормально, легко. Единственно, что с трудом давалось, так это научный коммунизм. На него в мозгах что-то повредилось от соударения с землёй. И политэкономия не шла. Ускользали эти предметы от понимания, не лезли в голову.

Преподавал научный коммунизм старый рубака-красноармеец, трубач Гражданской войны, который, как рассказал однажды по секрету, даже по команде Троцкого поднимал в атаку красную конницу. Звали его Василий Кириллович. Был он маленький, щупленький, вредный. Студенты за глаза перекрестили в Васёк-Трубачок. Мучил нас Васёк-Трубачок. Чувствовал: не лежит у студиязов душа к дурацкому предмету. Злился на них, как на беляков, против которых дудел в свою дудку в боях под Перекопом и на других фронтах. Выучишь, всё равно измочалит вопросами. Поэтому я научный коммунизм почти не учил. Интеллектом Васёк-Трубачок не отличался. Может, с детства таким был, а может, вылетел ум через раструб революционной трубы.

Мог сам ляпнуть на лекции:

– Вот говорят, что физический труд полезен. Я, было дело по молодости, брёвна год таскал, так...

И постучал согнутым пальцем по столу, дескать, дуб дубом. Он-то хотел сказать, что брёвна его уму ничего не прибавили, а получилась самохарактеристика о содержании головы.

На наше горе научный коммунизм вынесли на госэкзамене

ны. У меня в голове на этом поле непаханая целина, поднимать её ой как не хотелось, всё откладывал, наконец, остаётся три дня до экзамена, дальше тянуть с вспашкой целины некуда – иду в научную библиотеку, сажусь за Большую советскую энциклопедию, выхватываю аннотации ко всем первоисточникам марксизма-ленинизма. И за полтора дня наизусть по каждой работе в голову вгоняю. Благо, память удар головой об асфальт не вышибло. Хорошая была в молодости. Первоисточник читая, семь потов прольёшь, пока в этом собрании мыслей, положенных на печатные слова, зацепишь основную идею. В Большой советской энциклопедии всё разжёвано. Но с Васьком-Трубачком у меня были личные счёты. На экзамене он хотел меня прищучить, рассчитаться за моё вольнодумство, но, подкованный Большой советской энциклопедией, сыпал ссылками на работы Ленина. И как ни пытался Васёк сбить меня с столбовой дороги а обочину, не получилось. В конце концов завкафедрой начал защищать меня придирок Трубачка, дескать, что уж чересчур наседать? Пятак поставили.

Я по всем экзаменам, где проходили первоисточники, так сделал. Ни одной работы не знал, ни одного первоисточника в руках не держал. Была ещё теория государства и права, сплошные ленинские труды. И тут я аннотациями память наштиговал и слово в слово шпарил... Прокатило... Снова высший балл поставили...

Институтские годы пролетели на одном чудесном дыха-

нии. Да, имел место странный случай, по сей день объяснения не нахожу. Послали осенью на сельхозработы. Деревня, как сейчас помню, Кобзики, лететь туда на «кукурузнике». Вместе со всей группой у меня не получилось отправиться, прилетел через пару дней. Самолёт маленький, но задержался с вылетом, как большой. Прибыли в аэропорт назначения в одиннадцать вечера. Аэропорт такой, что главная задача технических служб – коров с лётного поля вовремя отогнать и на ночь здание аэровокзала – больше похожее на деревенскую избу – закрыть. Коров перед моим прилётом разогнали, замок на избу после моего прилёта повесили. И попутчики по самолёту, пока я осматривался, исчезли. В природе осень, погода с облаками, луна иногда проглянет. Её света мне хватило определить – в каком направлении Кобзики располагаются. Но где в той деревне наша группа – не понять.

Поищу, думаю, в случае чего – спрошу. Шагаю по улице, ни одной живой души, ни студентов, ни местных жителей. Спят все, одни собаки лениво лают. Как искать своих? Не будешь в первые попавшиеся ворота ломиться с этим вопросом. Была надежда, вдруг в центре деревни есть бессонные административные учреждения: милиция или пожарная команда. Ничего похожего. Дождя нет, не холодно и я решил подождать рассвета. Рано деревенские улеглись, значит, рано проснутся, вот тогда-то всё и разузнаю. Иду в таком настроении и утыкаюсь в кладбище. У ворот часовня заброшенная. Чем не место для ночлега. Облака разошлись, лу-

на хорошо светит. Купол у часовни ободранный, дверей нет. Расхотелось внутрь заходить. Гляжу – бревно у входа, сел. Молодой был, казалось, что там ночь пересидеть. Но не парк перед глазами... Кресты, оградки поодаль из темноты выступают... Жутковато... Встану, похожу рядом с часовней... В деревне кое-где окошки светятся... Там огоньки, здесь кресты... Вдруг слышу: чук-чук-чук... Из глубины кладбища топоток приближается... Я остолбенел... Стою на дороге, по которой, надо понимать, на кладбище с гробами заходят... Стою заморожено... И летит от крестов и могил мальчишка, в смысле – бежит... Не по воздуху... Топоток-то был. Бежит по прямой. Лица не вижу... Луна за облачко зашла... Мальчишка, лет семь, может... Пробежал рядом со мной, чуть не задел. Но пробежал так, будто вместо меня пустое место... Не взглянул, не повернул голову, не издал ни одного звука.

Я сел на бревно: что это было?.. Если ребенок, почему так поздно по кладбищу носится, почему абсолютно не отреагировал на взрослого человека? На дядьку незнакомого, торчащего на кладбище ночью. И одет мальчишка как-то не по современному. Штанишки, так деревенские дети одевались на заре двадцатого века, рубашка... Что за пацан? Во всяком случае, в деревне я его не встречал потом. Месяц жили, специально присматривался, даже к школе ходил, пацанву мелкую разглядывал... Не встретил...

Пожалуй, ещё пару картинок из студенческой эпохи расскажу. После третьего курса поехал в Сибирь бабушку про-

ведать. Двоюродный брат Вовка учился в пединституте, на истфаке, второй курс закончил, начал меня соблазнять в археологическую экспедицию:

– Что тут в городе торчать, поехали. Будешь рабочим, много не заработаешь, но места хорошие, первозданные, отдохнём на природе, компания отличная, девчонки, гитара...

Не врал Вовка – места глухие. Автобусы маршрутные не ходят. На машине нас привезли в лагерь, что стоял на берегу речки Тары. На самой границе вековой степи, что с юга, пройдя тысячи километров, у воды обрывала свой огромный пласт... Вовка романтик.

– Представляешь, – говорит, – эта степь помнит скифов, сарматов... Скифо-сарматское время здесь хорошо отмечилось. Эпоха раннего железа... В этом, сегодня заброшенном краю, кипела жизнь, горели костры, гудела земля от несущейся конницы, звенели мечи, хоронили воинов.

Степь клином подходила к Таре. Вверх и вниз по течению километрах в трёх начинался лес, а на другой стороне Тары стеной стояла тайга.

На раскопки нас возили в степь на машине. Вблизи от лагеря стояли курганы, но ещё не обработанные... А вообще курганы виднелись до линии горизонта... Взберёшься на него, смотришь, вдали один, второй, третий... Курганным способом вождей хоронили. Но не в гордом одиночестве. В центре, в специальной камере для vip-персоны, вождь, во-круг на отдалении в ровике укладывали жён, рабов, лошадей.

По принципу: всё своё беру с собой... Чтобы не пришлось ничего клянчить в ином мире.

Первое, что увидели, когда пришли на разрытые курганы (археологи уже работали там) – черепа с аккуратной круглой дыркой в затылке. Как из наганов стреляли. Преподаватели пояснили: от удара чекана. У топора с одной стороны лезвие, а с другой остриё – чекан. Так забивали и хоронили вместе с вождём.

Большинство курганов разграбленные. Ещё в древние времена. Не черные археологи копали, предприимчивые современники почивших не ждали, пока захоронения перейдут в разряд археологии, по свежим следам грабили. Ценности, конечно, с вождём размещали. Туда и лезли гробокопатели. Остальные захоронения не представляли интереса для их бизнеса... Зато мы в ровике, что кольцом шёл вокруг камеры вождя, копошились с утра до вечера. Глубина метра два, сидишь там и кисточкой, ножиком освобождаешь какой-нибудь черепок, от керамической посуды осколок. Утомительная работа. Солнце жарит, сухота вокруг... Ты всё время в наклон, а сверху на тебя крупинки земли сыплотся, пыль летит, вылезает оттуда, как чёрт. От реки далеко. Вода в дефиците. В обед так и садились чумазыми лопать. После раскопок в лагерь привезут, мы с машины прыгаем и сразу в Тару... Ох, благодать... Вода прохладная... Пусть не слеза прозрачная, в Таре вода бурая, да наплевать после трудового дня...

Место, где стояли, жутковатое. Старшекурсники по вечерам нагоняли страх, рассказывая о гостях с курганов, что призраками ходят по темноте. Их вечный сон потревожен археологами, вот и маются бедолаги, места себе не находят. Убили, похоронили, но и костям покоя нет – раскопали на всеобщее обозрение... Старшекурсники вспомнят ещё чёрного альпиниста... И ещё один нюанс – в полукилометре от лагеря было заброшенное татарское кладбище... Никакого татарского поселения рядом или следов от него, а остатки могил с полумесяцем на разрушенных временах надгробиях были... Тоже не из приятных соседство... На другой стороне Тары каждую ночь, то ли зверь, то ли птица издавала ухающие звуки. Смех смехом, но после разговоров у костра на кладбищенскую тематику, ночью приспичит по-маленькому – по одному не отходили от палаток, обязательно будишь соседа в сопровождающие. И он не отмахивался на твою просьбу, сам поступал аналогичным образом.

Один Рыжий, Гришка Красин, не боялся. Он с Вовкой учился на одном курсе. Здоровенный детина. Нога сорок последнего размера, ручищи под стать. Кудлатая рыжая башка и наглый как танк. Охоч был до женского пола. Накануне весной Рыжий погорел. Был комсомольским вожаком факультета. Не на этой стезе прославился. Организовал что-то вроде бюро сексуальных услуг. Платных. В общаге была полубесхозная комнатка, транспаранты в ней хранились от демонстраций, другой хлам. Рыжий сделал из неё будуарчик.

Дверь из коридора забил. И получилось тайное помещение интимных встреч. Попадали в неё из соседней комнаты. С некоторым риском. По карнизу. Здание старинное, карниз широченный, целый бульвар. Рыжий подобрал девиц, не со своего, надо отметить, факультета, даже со стороны привлекал работниц. Создал круг клиентов. Организаторские задатки в нём имелись... Бойко пошло дело... А рухнуло по банальной причине – финансовом конфликте. Рыжий стал резать тарифы, девушки завозмущались: «Мы страдаем, а он...» Рыжий смотрел иначе: «Получают удовольствие, мужиков им поставляю, деньги даю, всё организовал...» Для советского времени случай был из ряда вон, чуть не публичный дом в институте... Но у Рыжего дядя работал в горкоме партии большим начальником. Рыжий – только и всего – лишился должности секретаря комсомольской организации да получил выговорёшник, вопрос об исключении сутенёра из комсомола, а значит – из института, дядя погасил...

Среди студенток экспедиции Рыжий сексуальной отдушины не нашёл, повадился ходить в деревню. Километрах в четырёх вверх по Таре стояла деревушка. Путь к ней пролегал через лес, что не останавливало Рыжего. Каждый вечер сматывался к зазнобушкам, возвращался по темноте. Как правило, подшофе, деревенские бабоньки поили бражкой, самогонкой, с собой иногда давали. Рыжий угощал нас. Самогонка была вонючей, но градус имела убойный. Мы деревню не посещали и предупреждали Рыжего: дождёшься, деревен-

ские парни тебе накостыляют – подловят и наломают бока. «Здоровья колхозникам не хватит!» – бахвалился Рыжий и демонстрировал кулак. Было на что посмотреть...

Погода стояла замечательная, после ужина мы засиживались у костра далеко за полночь. Гитара, разговоры... Сидим вот так же, вдруг со стороны Тары, из-под берега, истошный крик. Рёв даже. И вовсе не так, чтобы крикнул и замолчал. Бежит кто-то и орёт во весь голос.

– Вроде Рыжий, – Вовка предположил, – деревенские, похоже, гонят!

Мы похватали, кто лопату, кто топором вооружился, палкой... Вскочили навстречу крику... А из темноты вываливается в свет костра Рыжий. Всклокоченный, в одном сапоге:

– Там на дереве, – заикается, – там на дереве распятый!

Мы:

– Где?

Он в сторону берега показывает. Вовка ему:

– Веди

– Нет! Не пойду! – отказался Рыжий.

Потом всё же осмелился. Человек десять нас, вооружённых дрекольем, двинулись. Тропинка в деревню шла сначала по берегу, потом сворачивала в лес. На подходе к нему стояло несколько одиноких толстенных сосен. Луна во всё небо, гладь Тары, хорошо видно.

– Вот там! – показал на одно из отдельно стоящих деревьев Рыжий.

Держался он за нашими спинами, в авангард не лез... Подходим... Точно... В лунном свете чётко видно: на дереве висит парень. И как распятый. Руки или привязаны или прибиты. Голова опущена, чуб на лицо упал... Кто-то обратил внимание:

– Рубашка в клеточку.

Да, в клеточку. Брюки непонятно какие, но на ногах плетёнки. Не для таёжных мест обувь. Ни мы, ни деревенские не носили такую. Остановились метрах в пяти-шести от дерева. Кто-то говорит:

– Наверное, кончили и прибили. Надо утром в милицию сообщить.

Стоим в отдалении, ближе никто не решается подойти. Всё же осмелился кто-то. Только не Рыжий. Он потом рассказывал, животный ужас охватил, когда увидел...

– Иду, – говорит, – настроение чудесное, тропа делает поворот и в свете луны распятый человек.

Стали приближаться к дереву. Вот тут-то возникли сомнения.

– Кукла что ли? – Вовка предположил.

В руках у него лопата, сделал выпад в сторону повешенного-распятого, ткнул в него. И всё стало на свои места. Нет прибитого, нет распятого, никакой куклы. Одно дерево. Начали шарить руками. Всего-то кора кусками содрана со ствола, она в лунном свете показалась Рыжему человеком. Отошли на прежнее расстояние. Голова с чубом, упавшим на ли-

цо – это ещё можно нафатазировать, есть отдалённое сходство, но как мы разглядели рубаху, да ещё в клеточку? Как угораздило увидеть плетёнки на ногах? Пусть Рыжий был подшофе, но чтобы десять человек на сто процентов обманулись... Инерционность мышления...

Рыжий после этого перестал ходить в деревню. Если только днём сбегает, по ночам шастал. «Повешенный» отрезвил....

Я и сам пережил в экспедиции страх, почище Рыжего. На того никто не покушался, а я думал – кранты... Никогда в жизни такого ужаса не испытывал.

Варили студенты сами. Назначались дежурные. Я как рабочий мог не дежурить. Но Вовка поранил руку, попросил подменить. Да запросто. Две девчонки кашеварят, задача парня-дежурного обеспечить костёр дровами, поваров – водой и огнём. Ещё помочь продукты засыпать в котлы. Было в экспедиции человек сорок. На такую ораву варили. Просыпаюсь в пять утра, из палатки вылез. Настроение радостным не назовёшь, спать хочется, часов до двух сидели у костра. Природа тоже насупилась, рассвет не празднует: небо затянуто, серятина вокруг палаток, на реке туман. Взял я вёдра, тропинка круто уходила к реке, воду брали с мыска, затишок и вроде как поменьше мусора. Течение довольно быстрое... Я сбежал по спуску, зачерпнул одним ведром, зачерпнул вторым и, распрямляясь от воды, поднял голову... О ужас! Прямо на мысок летит по воде фигура. Сначала не разобрал...

Потом ясно вижу: злобная женщина в белом, длинные волосы скоростью назад сносит, а руки вперёд простёрты... На меня мчится. Как и раньше вокруг серятина, небо затянуто, туман... А из тумана жуткое потустороннее существо несётся, руки тянутся хватать... В отличие от Рыжего, я не заорал... Но не помню, сознание не отметило, как оказался наверху с вёдрами. Обычно, пока затащишь, язык на плече. Крутой подъём, никаких ступенек. Улепётывая от загробной женщины, залетел в мгновение ока. Смотрю, в вёдрах ни капли не осталось. Зато брюки мокрые, рубаха на животе мокрая. Скажу честно, не исключая – обмочился от увиденного... Хорошо, водой позор смыло...

На реку с опаской посмотрел, вроде ничего не видно, туман... Надо идти вёдра наполнять, а я не могу. Ноги немеют, стоит о призраке подумать. Моя задача натаскать в котлы воды, развести костёр, только после этого будить девчонки-дежурных. Но боюсь один идти к воде. Не грустную русалку увидел, дьявольское существо летело... Одну девчонку разбудил. Наплёл, что скользкая тропинка, надо мне помочь при подъёме с вёдрами. Она вылезла из палатки. Спустились вдвоём, девчонка бурчит, что не дал урвать ещё минут двадцать сна. А меня даже в её присутствии крупная дрожь колотит. Всё сдавило внутри. Думаю, если ещё что-то подобное увижу – с ума съеду. В детстве такого страха не испытывал... Набрал воды... Глаз кошу, ничего вроде не вылетает из тумана... Поднимались в следующем порядке:

я впереди, девчонка сзади... Надо ещё пару ведер принести, девчонка больше не захотела сопровождать. Пересилил себя... Но больше ничего не увидел...

Даже Вовке рассказывать не стал... Исподволь поспрашивал у студентов-старшекурсников, будто слышал о таком: по реке может что-то двигаться похожее на фигуру стоящего человека. Сказали: бывает, бревно, топляк, торчмя плывёт, а может сосна, берег с сосной на краю обрушится, она плывёт, а корни огромные торчат...

Прозаическое объяснение, но в дальнейшем я от дежурства всячески уваливал...

В тот сезон экспедиции повезло, был найден уникальный экспонат – китайские стеклянные бусы. Казалось бы, не драгоценный камень, бижутерия. Но знатоки прыгали от радости. Бусы начала нашей эры... Очень редкая находка. Где Китай, и где речка Тара... Из такой дали завезли украшение по шёлковому пути. Столько веков оно пролежало в кургане. Не черепки глиняной посуды... Наверное, сарматский вождь подарил любимой жене. Такие изделия были известны знаатокам, но в нашей области не попадались ни разу археологам. Сначала те скакали от радости, а потом от отчаяния локти кусали. Бусы спёрли. Лежали в палатке, где хранили находки. Никакой охраны. Кто хочешь – заходи. Беспечность полнейшая. Как же – все свои. А свои да не совсем. Свои да не все. Ахали, охали. Я подумал на Рыжего. Парень ухватистый, не он ли? В деревню унёс, у своей крали спрятал... Нюх меня

подвёл. Стянул аспирант из Томска. Из себя тихоня. Любил с нами посидеть у костра. Не горланил песни со всеми вместе, зато у него была коронная. Эксклюзив из Тобска. Как жена потащила мужа на каток.

Жена накинула платок,
И мы рванули на каток,
На нас напялили коньки,
И мы стоим, как дураки...
А все катаются вперёд и в зад,
А я был этому совсем не рад.

Жена кричит, – Ой, упаду!
И растянулася на льду,
А я при всей своей длине,
Лежу на собственной жене...
А все катаются вперёд и в зад,
А я был этому совсем не рад.

Иногда аспирант брал у костра слово с «катком», или его просили... И без всякой гитары в быстром, захлёбывающемся темпе пел, скорее проговаривал речитативом... Обязательно вставал, изображая руками и телом катающихся конькобежцев... Получалось неплохо... Аспирант был высокий, худой, подвижный, с длинными руками. Забавно у него получалось...

Вот растянулся пионер,
За пионером – инженер,
За инженером – тракторист,
За трактористом – металлист...

Профессор в шубе на меху,
Три идиота наверху,
А эта шобла вся на мне,
А я на собственной жене..

А все катаются вперёд и в зад,
А я был этому совсем не рад.

Потянул аспирант древние бусы не на долгую память об экспедиции и не для творческого вдохновения при написании диссертации об эпических событиях прошлых веков. Не с целью, заряжаясь энергией неправдоподобно древней вещи, мыслью пронзать тысячелетия и оказываться у костров скифов и сарматов. Двигала элементарная жадность. Хотел продать бусы жены сарматского вождя, срубить денег на историческом экспонате. Но попался через полгода... Вовка мне потом написал...

Такие весёлые картинки из моего детства и юности...
Дальше будет ещё веселей...

Следак прокуратуры

Распределился после института в городскую районную прокуратуру. Блатные в адвокатуру или на худой конец – помощниками прокурора. Мне без блата куда? Или юрисконсультom на копейки (получал он слёзы – восемьдесят рублей) или в следователи. Тоже никто не рвался. Считали – собачья работа.

Меня на собеседовании при распределении спрашивают:

– Где бы хотели работать?

– Помощником прокурора, – бодро отвечаю.

На собеседовании был начальник следственного отдела областной прокуратуры. В возрасте мужчина.

– Почему не адвокатом?– спросил он, усмехнувшись.

– Лучше меня знаете, – говорю дерзко, – туда попасть счастье надо иметь.

На что он:

– Если хотите стать настоящим юристом, нужно начинать со следователя. Это вам мой совет.

Прав был на все сто. Я хоть и работал следователем всего два с небольшим года, чётко понял: хочешь стать юристом-профи – поработай следователем. Закалку получил на всю последующую бурную жизнь.

Направили меня следователем в городскую районную прокуратуру. Сразу решил для себя: это не научный комму-

низм, который можно откладывать, не уча, до последнего – кончилась лафа студенческая, пора карьеру делать. Работе отдавался, себя не жалея. Приходил раньше всех, уходил в одиннадцать, а то и за полночь. В первый день прибыл в прокуратуру, отрапортовался, представился, думал: для начала введут в курс дела, дадут недельку на ознакомление и стажировку, наставника прикрепят. Прокурор пожал руку, привёл на рабочее место, благословил:

– Дерзайте!

И через пять минут мне на стол вываливают гору дел «возбужденных». Нужно дорасследовать. Никаких раскачек, как я размечтался... По-взрослому: вот тебе дела начатые, доканчивай. Я так и присел. Опыта у меня ноль, институтская практика не в счёт. Срок расследования два месяца, когда, думаю, я эту кипу успею обработать? В комнате сидел ещё один следователь, видит моё смятение.

– Ничего, – говорит, – не паникуй.

И дал мне совет, которым всю жизнь пользуюсь:

– Если научишься отделять главное от второстепенного, а второстепенное от третьестепенного – у тебя всегда всё будет в порядке. По главному будешь в отчете, второстепенные дела – в работе, а третьестепенные – те что, подождут своего часа. Не научишься выделять – будет сумбур в голове.

Дела, что мне дали, в разной стадии были. Одно уже возбуждённое, («возбужденное» на профессиональном жаргоне), по второй группе дел материалы надо собирать, по тре-

тзей – обвинительное заключение писать...

А тут ещё слышу, девчонка из нашего института, из соседней группы, на месяц раньше меня в прокуратуру пришла, такого напортила, ни в какие ворота не проходит. Распекают её в хвост и в гриву. Дали пустячное дело, завтра срок следствия заканчивается, она выясняла совсем не то. Я мотаю на ус чужие ляпы, самому бы с такими впросак не врюхаться.

Казалось бы, всё проще простого: состав преступления налицо, что нужно выяснять следователю? Время, место, способ совершения преступления, последствия. Молодые лезут в дебри, тонут во второстепенных мелочах и не выясняют главного.

Я человек не гордый, мало ли, что пять лет учился, лишний раз заглянуть в теорию не повредит. Взял в библиотеке при прокуратуре учебное дело, почитал. И засучил рукава. Беру конкретное дело из тех, какими завалили меня по самую макушку, открываю, смотрю: что мы имеем? Какие документы в наличии? Должно быть постановление о возбуждении уголовного дела. Это раз. Второе – запрос информационного центра МВД СССР. Затем характеристики, материалы допросов... Пишу для себя список, чего не хватает, и работаю по нему, не считаясь с личным временем. Жена у меня понятливая, скандалы не устраивает. И хорошо пошло. В районной прокуратуре проработал шесть месяцев, не было ни одного дела, чтобы не раскрыл.

Через полгода прохожу аттестацию, и мне предлагают старшим следователем в областную прокуратуру. По тем временам попасть в областную, это пахать и пахать. Лет десять-пятнадцать. А я сопляк неоперившийся. Но, получается, не совсем, раз в такую компанию взяли. В областной следователи работали серьёзные – деды, зубры, с каждого можно роман писать. Были экземпляры – ещё при Сталине начинали. И тут я, чернила на дипломе толком не просохли. Почесал репу, представил перспективу: если в районной до двенадцати ночи разгребал дела, тут вообще домой уходить не придётся...

Мне выделили отдельный кабинет. В облпрокуратуре следователи колхозом не сидели. У каждого свои апартаменты. В моём кабинете здоровенный стол. Двухтумбовый, зелёным сукном столешница обтянута. Что называется – довоенной эпохи мебели. И дают мне дело. Тонюсенькая папочка. Шнурочки развязываю, открываю и... не по себе становится. Дело с аннотацией депутата Верховного Совета СССР, первого секретаря обкома КПСС: «Просим проверить соблюдение финансовой дисциплины со стороны главного врача санэпидстанции Абрамовича и возбудить уголовное дело». Такая довесочка может десять томов перетянуть. Дело дали без всяких пояснений и комментариев.

Абрамович городскую санэпидстанцию возглавлял. Подоплека приписки первого секретаря обкома была следующей. Абрамович, депутат Горсовета (какая уж муха его укусила)

на заседании Горсовета не согласился с первым секретарем обкома. Выступил против шерсти. Я сразу понял: дело дутое. И начал собирать бумаги. Думаю, обложусь ими со всех сторон. Опросил двести свидетелей. Кучу запросов сделал. Из той тоненькой папочки получилось пять томов.

Имея в арсенале этот многотомник, вызываю Абрамовича. Так как выношу постановление о прекращении уголовного дела, должен ознакомить фигуранта. До этого Абрамовича ни разу не дёргал. Вызываю повесткой. Приходит. Приглашаю:

– Проходите, садитесь.

И объявляю:

– Уголовное дело в отношении вас прекращаю, пожалуйста, распишитесь.

Как он на меня понёс! Как разошёлся! Соскочил со стула:

– Что это такое? Проводилось расследование, а я даже не знаю!! Я – депутат Городского совета, а вы за моей спиной! Это что за порядки?! Буду жаловаться в Москву, если ваше начальство попустительствует!

Был семьдесят седьмой год, мне двадцать три года, ему лет пятьдесят пять. Звали его Георгий Маркович. Кипитится, слюной брызжет. Вскакивает со стула, хватает свой портфель, наверное, бежать на меня жаловаться, снова садится. Побледнел, глаза сверкают... Видимо, страшно нервничал, получив повестку... И вот эмоции захлёстывают...

Я спокойно сижу, ни слова поперёк. Он чуть стравил пар,

я взял слово, говорю:

– Не мне вас учить, я молодой, а у вас такой жизненный опыт. Вы человек с положением, многого достигли, но советую вам никуда не жаловаться. Я дело прекратил, распишитесь и забудьте. Я вас не дёргал, вы ничего не знали. Не нервничали, не тратили здоровье, всё прошло мимо вас. Подоплёку дела знаю, советую не обжаловать.

Он выслушал мои доводы, посмотрел на меня долгим взглядом, сидел молча пару минут.

– Где расписаться? – спросил.

Твёрдой рукой поставил росчерк, и мы расстались мирно. Не стал жаловаться.

Что уж там облпрокурор объяснял первому секретарю обкома, покрыто тайной. Я облпрокурору тома дела принёс, постановление о прекращении, что дальше – не знаю. Работая с этим делом, жил вполне нормально. Домой приходил рано, жена рада-радёшенька: денег приношу ощутимо больше, чем в районной прокуратуре, по дому помогаю. Вот, думаю, лафа в областной, и с зарплатой недурственно и с загрузкой малина. Но ошибочка вышла. Закончил дело с Абрамовичем, как начали посылать в командировки по области.

– Давай-давай, – по-отечески напутствовали деды, – ты у нас молодой, ретивый, тебя надо гонять как сидорову козу, тогда следак настоящий получится!

То в одну деревню отправляют – убийство, то в другую. Опять забыл, что такое дом.

Первое дело по убийству. Районное село, по пьяной лавочке убит мужчина. С особой жестокостью – грудь, живот истыканы ножом. Убийца несколько месяцев мне снился потом. Стоит передо мной невысокий, сухощавый и молча смотрит. В полтора раза меньше убитого... По сей день помню его фамилию – Чара. Поначалу категорически отпирался:

– Ничего не знаю, ничего не видел.

Его как рок преследовал в тот злополучный день. Утром нашёл на дороге нож откидной. И будто дитё малое, не мог наиграться. Демонстрировал массе свидетелей выброс лезвия, как ловко выскакивает: чуть нажал кнопку и – режь, не хочу. Полсела нож видело.

– Где нож? – спрашиваю.

– Потерял».

– Где?

– Знал бы, нашёл.

Я по минутам расписал местонахождение Чары в вечер убийства. Вместе с убитым покупал водку, папиросы, вместе пили за льнозаводом. Курили «Беломор-канал». Я поехал туда, собрал и изъясил все окурки с места преступления для доказательной базы. Бутылок не было, на стеклотару без меня охотники нашлись. Чара рассказывал, что они с убитым шарашились по селу, снова покупали водку... Потом будто бы расстались, Чара пьяным пошёл домой, об убийстве собутыльника узнал утром от соседа...

Я начал его раскачивать...

Думаю, талантом следователя я был наделён. Интуитивно чувствовал подозреваемого, умел предугадать ходы его заpirationств, умел раскрутить, направить в нужное русло. Следователю стоит поторопиться, ляпнуть раньше времени подозреваемому «чистосердечное признание облегчит вашу участь», тот замкнётся. Хороший следак без агитационных призывов подведёт обвиняемого к состоянию, когда у того язык развяжется. Судебная психология незрящая наука... Не обязательно выбивать показания...

Это я ещё в районной прокуратуре работал, дали дело... Четверо молодых ребят занимались грабежом на улицах... Один наглый, дерзкий, второй скользкий, третий три года отсидел в детской колонии... Выбираю четвёртого – тихого, испуганного – и начинаю давить на кнопки. А кнопки: мать одна бьётся всю жизнь, братишка-школьник, живут в коммуналке, отец сгинул. Ещё до официального допроса начал раскачивать парнишку.

– Я вижу, – говорю, – кто есть кто в вашей компании. Ты по дурусти связался с этими гадами. А самая лёгкая участь из четверых может быть у тебя.

Устанавливаю контакт, подвожу к «давай рассказывай». И он рассказывает.

С наглым действую по-другому:

– Мне твои признания, в принципе, не нужны. На тебя уже показали... Смотри, чтобы всё на тебя не свалили...

Так всю группу раскачал, они признались... И тут меня

переводят в облпрокуратуру, дело передаю Витьке Шигареву, он годом позже меня начал работать следователем. Через какое-то время Витька прибегает в панике:

– Что делать? Эти четверо все до одного отказались.

– Не знаю, – говорю, – я из них чистосердечные не выбирал.

Витьке надо было признания подтверждать очными ставками, вещественными доказательствами, показаниями потерпевших, свидетелей подтянуть. Витька по неопытности заволокитил и потерял нить... Но позже стал знатным следователем, в Москву забрали.

Опыт, конечно, великое дело, но и психологом должен быть следователь. Где бы ни работал потом, никогда не просил повышения оклада. В любой организации знал, кто начальнику шепчет. И когда считал, что пора поднять вопрос о надбавке, говорил, как бы между прочим этому человеку: что-то тяжело здесь стало, зарплата низкая, буду уходить. Этот человек доносит мои слова до начальника. Глядишь, вскоре начальник вызывает к себе: вы хорошо работаете, я подумал – надо повышать вам зарплату. Никогда не пугал заявлениями об уходе, не ставил начальству ультиматум: «Или добавляйте, или ухожу». А работал везде на совесть, не хлявил за счёт других...

При расследовании дела Чары с вещдоками случилась памятная сценка. Милиция ещё до моего приезда изъяла их, упаковала. В райцентре я осматривать не стал, взял с собой

в прокуратуру. Распаковал, и чуть дурно не стало. Лето, жара, вещдоки – одежда убитого, свитер, майка, брюки... Всё, буквально всё в крови. Раскрыл, а там черви... Я от брезгливости начал живность вытряхивать и давить ногами... Запах ещё отвратнее... Схватил проволочную урну для бумаг, туда смёл живность и, нарушая все противопожарные нормы, подпалил бумагу. Дымом перебить вонь в кабинете... Сосед заглядывает:

– Ты что – горюшь?

– Ага, – говорю, – пионерский костёр устроил. «Взвейтесь кострами, синие ночи! Мы пионеры – дети рабочих».

Но вещдоки пусть и вонючие не сожжёшь, на помойку не выбросишь... Хотя и маловато их было, в основном косвенные... На одежде насчитал одиннадцать дырок от ножевых ранений. Чара, признаваясь, сказал, куда наносил, и я смотрел на соответствие – показания обвиняемого подтвердить вещественными доказательствами. Я ему 103-ю статью УК РСФСР, умышленное убийство, сделал. Раскачивая Чару, подсказал схему признания. Множественные ранения – особая жестокость, попадает под 102-ю статью УК РСФСР, до 15 лет. Скажи, говорю, что ты его боялся, он значительно сильнее тебя, ты из страха, что убьёт, наносил удары ножом, пока тот не затих. А это уже 103-я статья, 8 лет. Он послушался. Но, поговорив с адвокатом, вдруг пошёл в отказ. Адвокату пришлось разьяснять, что только хуже себе сделает, впаяют 102-ю. Одумался. Восемь лет Чаре дали. Доказа-

тельную базу я подготовил основательную, включая признание вины, трудно было отвертеться, или адвокату дело развалить.

Чара по жизни непутёвый. Не работал на момент убийства. Хотя семью, двоих детей имел. Пил. Сознаваясь, рассказал, что первый удар нанёс неожиданно, поэтому и справился со здоровяком. Дозабавлялся с ножом. Из рук его не выпускал, когда они курили с потерпевшим, никак не мог наиграться находкой – убирая и выбрасывая лезвие.

– Вдруг захотелось ударить его, злость взяла! Упёртый! – рассказывал мне.

И саданул. А потом бил в остервенении. Между ними вспыхнул дурацкий спор из-за тросика для мотоцикла... Кто-то кому-то не отдал... Нож Чара забросил в пруд. По моей просьбе сделал рисунок ножа. Указал место, куда зашвырнул, искали, но не нашли... Рисунок ножа пошёл в материалы дела...

Никогда подследственные не снились, только Чара приходил во снах.

Много было дел. Сектанты привязали в лесу трёхлетнего мальчишку к дереву. Почти по Ветхому завету, как Авраам, который нож занёс над сыном Исааком, эти тоже в жертву мальчишку принести... Не знаю, на что надеялись родители мальчишки? Может, верили, что Бог им, как Аврааму, поможет? Но задурманенные... Сами участвовали в покушении на убийство сына... На мальчишку наткнулись грибни-

ки. Был он в жутком виде, покусанный комарами, муравьями, но выжил... И показал, кто его привязывал... На суде дай волю женщинам, разорвали бы родителей...

Другой выверт. Женщина воспитывала дочь и влюбилась без памяти в мужчину. Тот условие выдвинул в ответ на чувства неземные: ты мне с пацанкой не нужна. И эта дура стелкивает десятилетнюю дочь с моста в реку... Долго запиралась, всё равно раскачал...

Не только ужасами запомнилась работа в облпрокуратуре. В пятницу, можно сказать, праздновали день следака. Соблюдался, хоть камни с неба падай, железобетонный ритуал. В мой первый рабочий день, ещё не успел познакомиться со всеми, меня в коридоре останавливает один зубр:

– Новенький?

– Ну, – говорю.

– Шахматы двигаешь?

– Немного да, – скромно отвечаю.

– Отлично, в пятницу проверим. На Фролыча тебя запустим.

Жили следователи славно. Своё помещение – флигелёк во дворе облпрокуратуры, отдельный вход. В пятницу с утра следователи работали в обычном режиме, но после обеда, как закон – дела по боку, доски из красного уголка на стол в большой комнате, и все до умопомрачения дуются в шахматы. На стук «коней», топот «слонов» подтягивались любители древней игры из областной прокуратуры: помощники

прокурора, начальники отделов. Человек по пятнадцать собиралось. Кто-то играет, кто-то советы даёт. По кнопкам часов бьют, шумят. Но не просто играют: е2–е4, слон туда, конь оттуда, длинная рокировка... Кроме досок с ферзями, королями и другой шахматной челядью, стаканы и бутылки на столах. Водка рекой льётся, подогревая спортивный азарт.

Перед обедом деда сбрасывались, и не надо ломать голову в решении загадки: кто шёл в магазин? Если я был не в командировке, в мой адрес звучало: «Дуй!» И давали дежурную сумку. Она отличалась повышенной ёмкостью, деда не марались за шахматными досками ста граммами – меньше пятнадцати бутылок я не приносил никогда, а чаще все двадцать – ящик. В качестве шахматного допинга признавалась только водка. Загружал в сумку ящик. Плюс закуска. Этот компонент шахматного турнира тоже был на мне. Закуску брали без изысков и разносолов. Поблизости от прокуратуры фабрика-кухня пекла вкусные пирожки с мясом и ливером. На ящик водки я покупал мешок пирожков. Стоили они пять копеек. Дёшево и под шахматы с водкой в самый раз. Не надо ничего резать, вилкой доставать... Стакан опрокинул, пирожком закусил и снова в бой, дави короля противника по всем флангам...

К концу обеда я притаскивал водочно-пирожковую сумку, деда уже расставляли фигуры, и начинался бой. Все дуются в шахматы, пьют водку, поедают пирожки. Время летит интересно и со страшной скоростью, глядь второй час ночи.

Почему-то контрольное время именно час ночи. После этого основная масса любителей интеллектуального спорта начинала расходиться. Как правило, к двум часам даже самые азартные собирали фигуры. Если кому-то хотелось ещё выпить, отправлялись догуливать на вокзал, где ресторан работал всю ночь, там уже водку без шахмат употребляли. В ресторан я не ходил, но прокуратуру с последними покидал. Жена недовольна была шахматным ритуалом, не любила пятницы. Скандалы не устраивала, но ворчала.

– Я не надираюсь до соплей, – объяснял, – держусь, по возможности пропускаю, сама подумай, начну выёживаться, трезвенника из себя корчить – не буду в прокуратуре работать. Белых ворон нигде не любят, в том числе и в прокуратуре.

Лукавил слегка, мне и самому было интересно в этой компании. Жена смирилась в конце концов. Она вообще умница, вскорости после прокуратуры началось такое – другая бы крутнула задницей, бросила не задумываясь. Нина всё перетерпела – и нищету, и благополучие. В шахматы я играл средненько. Фролыч, экзаменуя в первую пятницу, быстро со мной разделался.

– Слабачок новичок! – сделал заключение. – Пей водку, учи теорию!

Я упёртый, совет старшего товарища воспринял серьёзно, игнорировать не стал. Взялся за теорию, задачки порешал... В командировку еду, в дорогу беру шахматные книжки... И

наловчился, стал дедов обыгрывать... Фролыч меня заужал в шахматном плане...

Кстати, как оказалось, Фролыч – Яков Фролович Грошев – раскопал шумное дело о голубых, в котором моего однокашника Славку Карманова убили. В середине четвёртого курса мы двоих парней из группы одного за другим потеряли. Первым Гришку Лазарева. Все годы с Гришкой за одним столом сидели. Какая-нибудь тягомотная лекция, мы в «балду» или «морской бой» режемся. На научном коммунизме обязательно. Однажды Васёк-Трубачок, революционный трубач, засёк нас и выгнал обоих. Гришка перепугался:

– Уроет теперь.

Он был на сто процентов домашнего склада. На экзаменах, зачётах трясся, как заячий хвост – смотреть больно. Пятнами покроется, заикается. Обычно никакого заикания, но в стрессовых ситуациях язык за буквы начинает цепляться, на каждой второй спотыкаться. У впечатлительных девочек в сессию женские циклы скакали от перепуга, но девочки понятно, хаотические натуры, здесь парня колотит.

– Ничего, – говорит, – не могу с собой поделатъ.

Гришка подрабатывал лаборантом в политехническом институте. К ним привезли пресс. Высоченный. Во время монтажа что-то с 10-метровой верхотуры оборвалось. Все враспынную, Гришка тоже – и поскользнулся, в туфлях был на кожаной подошве... Махина ему на голову... Ничего больше не задело, только голову... Мгновенная смерть. На следую-

щий день приходим на занятия, в институте некролог...

Девчонки ревели... Со Славкой Кармановым на кладбище по аллее идём к автобусу, он говорит:

– Вот жизнь, сегодня ты на коне, а завтра бугорок...

Неделя проходит, мне вечером староста звонит:

– Карманова убили!

– Как?

– Задушили.

Нашли его в центре города, в проходном дворе, задушен собственным шарфом. Славка любил носить белоснежные длинные шарфы. По сравнению с нами одевался с изюминкой. Мы в шоке. Только что Гришку похоронили... Будто чувствовал, говоря про «бугорок»... И темнуха, за что и почему...

А потом пошёл слухок: Славка был гомосексуалистом. Мы ничего не знали. Учился отлично. В студенческих тусовках практически не участвовал. Классно рисовал. Мог шарж за лекцию сваять. Васёк-Трубачок у него был любимым персонажем. Вот в будёновке скачет задом наперёд на дурковатой лошади и дудит аж щёки, как у хомяка, надуты, испуганные глаза навывкате. В другой раз с бесстрашными глазами в дудку дует, но уже на кафедре, в одной руке дудка, в другой – шашка... Такие шаржи нам не давал, покажет и спрячет... Меня изобразил с футбольным мячом вместо тела... И вот оказалось, наш Славка – голубой. Дело по его убийству зависло, сразу не раскрыли. Через год оно попало в руки Фро-

лыча. Произошло ещё одно убийство голубого, и снова, как в случае с Кармановым, – задушен... Деда над Грошевым подшучивали, когда он шерстил городскую тусовку педиков:

– Фролыч, главное, сам не увлекись, мужеложство, специалисты говорят, дело заразительное...

Грошев вышел на артистов балета и раскопал: один из них на почве ревности Славу задушил, а потом снова влюбился и опять приревновал... Серийным убийцей-ревнивцем стал... Вышку дали...

Год работаю в прокуратуре, всё идёт лучше не надо, деда уважают и не за одни шахматные успехи и стойкость по водочной линии, дела, что веду, из судов не возвращаются. Влился в коллектив во всех направлениях. Но угораздило поехать в Египет по турпутёвке. Захотелось расслабиться от повседневных забот в стране древней цивилизации.

Был у меня в биографии конфликт с райкомом и горкомом комсомола. После института работу в районной прокуратуре сразу не дали: ждите. Месяц жду, второй начинается... Сколько, думаю, можно... Жена сидит с грудным дитём, дочь у нас родилась, а я мотаюсь вагоны разгружать, подрабатываю, как в студенчестве. Встречаю инструктора горкома комсомола, знал его по работе в институтской народной дружине, я два года командиром был, он предлагает освобождённым секретарем комсомола в ГПТУ. Меня как муха укусила тогда, нет бы мозгами пораскинуть – надо ли мне это, взять время на обдумывание, я сходу согласился.

Честно говоря, не очень хотел в следователи идти. Почему-то решил: по комсомольской линии сделаю карьеру быстрее и с меньшей тратой сил. Дал комсомолу согласие, и машина закрутилась со страшной скоростью, через пару дней вызывают в райком. Ухватились за меня руками-ногами, как чёрт за грешника: будете работать, на бюро рассмотрим вашу кандидатуру, это чистая формальность.

Вышел из райкома, сталкиваюсь с Танькой Татарниковой, вместе учились. Она мне:

– Да ты что, больной? Ты в этой дыре гэпэтэушной никакой карьеры не сделаешь! Они почему в тебя вцепились, ни один дурак, кто на комсомол поставил, туда не хочет. Просидишь до тридцати лет, а потом начинай с нуля. Ладно бы инструктором в райком, а так...

У меня как шторка с глаз упала: права Танька... На бюро райкома прихожу и отказываюсь. У них шары по чайнику:

– Вы в своём уме?! Вы соображаете, где находитесь и что говорите? Мы вас провели везде.

– Нет, – твёрдо стою на своём, – хочу работать юристом. Меня что государство зря учило?

Не успокоились. «Государство» на них не подействовало. В горком комсомола вызвали и давай страшить:

– Соглашайся, иначе мы тебе припомним, у нас предателей не любят.

Уже в предатели записали. Думаю, если соглашусь – вы мне точно припомните, а так буду подальше от ваших глаз...

Учась в институте, сподобился я посетить заграничные края – Сирию и Египет. По тем закомплексованным и невыездным временам это было что-то. В соцлагерь не всех выпускали. В капгосударства только особо благонадёжных граждан. Я из них: передовой общественник, командир народной дружины. Комсомол наградил путёвкой. Я тогда в райкоме был на хорошем счету. Без проблем мне поспособствовали с разрешением на приобретение путёвки, дали характеристику в соответствующие органы. Съездил, понравилось. Кой-какие шмотки привёз.

В прокуратуре под отпуск подвернулась путёвка в Египет. Моя очередь, как у молодого, самая последняя по рейтингу, да желающих не оказалось на пирамиду Хеопса глядеть. Мама, будто чувствовала, отговаривала от поездки. Не лежала у неё душа. Не так, чтобы категорично отговаривала, но не сколько раз просила:

– Не ездил бы ты, Роман, не нравится мне это, не надо. Ты только зацепился за прокуратуру.

Не послушался.

Меняли тогда пятьдесят рублей. Маршрут: Греция, Кипр, Турция, Египет. По два-три дня в Греции, Турции и на Кипре, а в Египте – семнадцать. Я там уже был, опыт имелся. Можно брать в качестве дополнительной валюты водочку и всякую дребедень. Египет по тем временам – рай. У нас в магазинах пусто, а там – глаза разбегаются. В Греции я продаю часы с руки. За десять долларов. Это считалось хорошим

наваром. В Египте водку сдал. Было три или четыре бутылки. Купил жене зонтик японский. Себе пластинки, группы «Чикаго», «Дип пёпл», «Пинк Флойд», их знаменитый концерт «Обратная сторона Луны». Обзавёлся новой джинсой. Год шёл 1978-й. Публика в группе подобралась не шалупонь комсомольская, с какой в Египет в первый раз ездил, номенклатурная – с некоторым положением. Тем не менее все за милую душу приторговывали. Конъюнктуру знали. Наши болоньевые куртки пользовались спросом. Их толкали. Водку, часы. Все этим потихоньку пробавлялись, и я поддался общему спокойствию. Подозреваю, была наколка от моих комсомолят, что обещали устроить мне весёлую жизнь за отказ от работы с ними. Я, не зря следовательно, вычислил одного из нашей группы, Вову, что он кагэбэшник. Он целенаправленно сёк за мной. Да поздновато следовательно нюх включил. После того как наследил... На теплоходе плывём, я говорю:

– И что, Вова, ты меня сдашь?

– Куда я тебя сдам? – прикинулся валенком. – Я – инженер!

Будто я спрашивал, где он работает. Короче, я понял – кранты.

Вова частенько вокруг меня крутился. Я купил пару журнальчиков с лёгкой эротикой, это была невидаль в Советском Союзе. Вова увидел, глазёнки заблестели:

– Дай посмотреть.

Мыслишка ещё тогда проскользнула: подозрительный тип. И соседа по номеру не сразу раскусил. Надо было не светиться, а я при нём часы продал. С фотоаппаратом умнее поступил... У меня «Зенит» был. Хороший аппарат, пользовался спросом у иностранцев. С ним хитро поступил, футляр оставил, аппарат продал. И втихушку, никто не видел, футляр носил, дескать плёнка кончилась. С часами засветился. Английский я со школы хорошо знал, на бытовом уровне изъяснялся свободно. С учительницей повезло, да и память у меня... Египет бывшая британская колония, английский язык в ходу. Когда в первый раз туда ездил, девчонки постоянно вокруг меня крутились, я в магазине свободно с продавцами общался, поторгуюсь, они раза в два, а бывало, и в три скинут цену. Им только дай туристов облапошить. Я в этом плане крепкий орешек. Вцеплюсь в товар, они уже сами не рады, только бы отвязаться от такого покупателя. Попадается мне сосед по номеру Алексей Иванович – горисполкомовский работник, лет на десять меня старше и ни бэ, ни мэ в английском, как и в любом другом иностранном. Липучкой пристал. Как иду в магазин, обязательно увяжется. Мне бы сбрасывать такого соглядатая с хвоста... При нём продавал часы. Он Вова стучал. Хотя сам приторговывал направо и налево... В Каире у меня в номере чемодан вскрыли. Ничего не взяли, но порылись. Уверен, Вова прижал Алексея Ивановича, тот на него сработал.

Вернулся из поездки, приступаю к своим обязанностям...

Первая неделя прошла нормально, с шахматной пятницей. Как сейчас помню, Фролыч меня обыграл. Что дитё, счастлив был:

– Это тебе не на пирамиды пялиться, тут мозгой шевелить надо!

Я жил в двух кварталах от облпрокуратуры. На следующей неделе, кажется, во вторник иду, не спеша, половина девятого, не опаздываю. Смотрю, Вова, который инженер и с которым в Египте были, впереди меня вышагивает. Серый дом стоял перед областной прокуратурой. Вова бодро поднимается на его крыльцо. Я ему:

– Вова, привет.

У Вовы челюсть и отвисла.

Через несколько дней у меня всё отвисло... Хотя и не исключал возможности невесёлого поворота событий, надежда была: пронесёт. Надеялся, мундир работника облпрокуратуры защитит от происков товарищей из органов. Всё-таки прокуратура серьёзное учреждение... Нет. Пришла депеша, и закрутилось колесо, чтобы раздавить меня, размазать... Я в партию ещё в институте вступил. Какая карьера без партбилета. Назначается партсобрание в облпрокуратуре, первый пункт повестки – моя аморальная личность, порочащая высокое звание советского человека. И инкриминируют мне, что я продал чемодан водки, часы... И ещё: я консультировал туристов, как надо заключать сделки с иностранцами.

– Да, – сознаюсь, – часы, бес попутал, продал, чтобы ре-

бёнку побольше купить, жене. Но водки провозил, как было разрешено, не больше.

Чемодан с водкой был придуман, чтобы меня утопить. Чувствовал себя препротивно. Зал человек пятьдесят-шестьдесят, мои деды, тот же Фролыч. Я, как пацан нашкодивший. Но Вове-кэгэбэшнику я решил подговнять, подложить свинку, пусть тоже покрутился перед своими, пусть закроют ему халявные поездки в загранку... Вовы на партсобрании не было. Но я уверен: представитель серого дома присутствовал при моём линчевании. И я сказал открытым текстом, что в группе был работник КГБ... Мне вопрос из зала:

– С чего вы взяли?

– Это, – объясняю, – труда не составляло вычислить. Представляете, тургруппа, едем, скажем, по Никосии, головы крутим. Гид рассказывает, мы записываем, ведь по возвращении домой надо будет делиться впечатлениями от увиденного. У всех неподдельный интерес. А этот товарищ ничего не записывает, лишь смотрит за другими. Тут следователем не надо быть, чтобы понять – не простой турист.

Фактически сказал, что Вова работал топорно.

Первую инстанцию партийной карающей машины прошёл, меня дальше – на бюро райкома. Собрали характеристики отовсюду. Из института написали, что я, будучи в народной дружине, проявил себя ленивым, безынициативным, на первом плане была учёба, дело не волновало. Не упомина-

нули, что за то время, пока был командиром народной дружины, меня наградили тот же райком знаком «Отличный дружинник», характеристику блестящую выдал. Моя дружина была одной из лучших в городе.

Но у меня в архиве хранилась копия той характеристики, где я описан в замечательных тонах, были копии и других подобных отзывов.

Взял их на бюро райкома партии. Там сидели солидные дяди и старые коммунисты, чуть ли не герои революции. Как начали меня чехвостить, как ударили со всех стволов! Какие там блестящие характеристики доставать, защищаясь, рта, практически, не дали раскрыть. Полоскали добрых полчаса без остановки. Я попытался отбить этот чемодан водки, это явное враньё. Объяснить, что никак не мог провезти столько водки.

– У меня, – говорю, – всего был один чемодан с вещами.

Райкомовец перебивает:

– Что вам очную ставку устраивать?

– Да, – говорю, – очень прошу устроить очную ставку с тем, кто видел у меня чемодан водки и с тем, кто видел, как я этот несуществующий чемодан продавал.

Вёл себя даже дерзко.

Никаких расследований с очными ставками проводить они не собирались, постановили коротко и ясно: исключить.

Ладно. Исключить так исключить. Месяц на апелляцию дали. Из облпрокуратуры тут же уволили за проступки

несовместимые со званием советского следователя... Принёс я дедам моим три литра водки на поминки моей карьеры в облпрокуратуре.

– Ты, конечно, сам дурак, – Фролыч заключение сделал, – надо же соображать, не в деревню Пердиловку турпоездка, в капстрану. Вам пацанам всё кажется, вы самые умные... Ладно, будешь соображать впредь. Но пузыри не пускай, тебя после нас любая районная прокуратура с руками и ногами возьмёт. Ты же следак, а не прыщик на заднице.

Не только он так говорил при увольнении. Черта с два. Куда ни сунуть, мне от ворот поворот. Ни в одну Пердиловку не взяли. Пытался в проводники податься на железную дорогу – закосили сразу. По медицине. Пришёл на комиссию. Ладно бы что-то увидели. Даже до врачей не допустили.

– Кто здесь Кожухин?» – спрашивают. Достали мои документы, отдают: – Всё, свободны, не пройдёте.

Кое-как устроился юристом в райторге, в районе. Крошечный городок, час на электричке, а что делать? Пришёл туда, честно рассказывал, откуда меня и за что попёрли. Бесполезно юлить, всё равно узнают. Торг возглавлял фронтовик. Без левой руки, орденские планки на груди. Сказал ему:

– Вы знаете, чувствую: поступит вам указание от меня освободиться, долго навряд ли буду работать.

Он даже кулаком по столу пристукнул:

– Ты, парень, брось на партию пятна наводить! Я старый коммунист, партия у нас справедливая! Будешь работать у

меня! Вот увидишь, всё получится хорошо.

И довольный, что я к нему пришёл.

– До тебя всё девки работали, с рожалками-нетерпелками. Посидит-посидит, гляжу, с пузом. Старуха моя смеётся: по-ди, ты неугомонный всё кобелируешь. Будто без меня некому... Главное, без мужей девки... Вот ей и подозрительно.

Начал у него работать, ездить далеко, но мотаюсь. Через пару недель просит по телефону:

– Роман Анатольевич, зайдите.

Захожу.

– Вы знаете, – объясняет, – вы правы были, меня вызвали в райком и приказали от вас избавиться. Дали срок две недели. Придумай, говорят, повод.

Сам глаза опустил. Я ему:

– Не надо придумывать, я сейчас напишу заявление по собственному желанию.

Апелляцию в горком на моё исключение из партии я подал в последний день. Линию поведения подсказал Фролыч. На отвальной после второго стакана, приобняв, посоветовал:

– Ты не ерпенься, голой жопой на ежа не прыгай! Повинись! Покайся! Раньше перед Богом каялись, теперь перед партией. Сейчас времена другие. Раньше с тобой и говорить бы не стали. В подвале нашего дома шлёпнули бы и всё.

Послушался я деда. Принёс на бюро горкома повинную голову. Не стал оправдываться, что я не верблюд с чемоданом водки, что я вовсе даже белый и пушистый, не хуже дру-

гих в группе был. Не стал доставать блестящие характеристики. А встал и говорю:

– Да, я совершил ошибки, но вы должны учитывать мой возраст. Жизненный опыт минимальный. Всего-то двадцать пять лет. Если мне сейчас закрыть дорогу, я вообще ничего хорошего не сделаю, не сумею реализоваться в полную меру. Но если проявить доверие, могу много совершить полезного обществу. Несравнимо с тем, что натворил. Конечно, я заслуживаю наказания за свой неблагоприятный проступок...

Все сидят суровые, с таким настроением только головы рубить. Но смотрю, у первого секретаря горкома после моего выступление лицо посветлело. Как только выражение главного лица изменилось, а все антенны на первого секретаря настроены, остальные физиономии подобрали...

Меня отправили в коридор. Слышу в приоткрытую дверь, как стали они орать:

– Зачем его нужно было из торга убирать, пусть бы работал? Зачем сделали парню волчий билет – нигде устроиться не может.

Кто-то всё же вякнул:

– А я бы исключил этого спекулянта!

Мнения разделились. Но в перерыве выходит из дверей партийный боец в юбке, деловая баба, лет пятьдесят, без талии, крепкая, с напористым бюстом, таких, как я, видела-перевидела за свою партийную карьеру, берёт меня за плечо:

– Молодец, – похвалила, – хорошо сказал. Знаешь, одно

слово неверное ляпни, и пиши пропало. Но ты молодец. Всё будет нормально.

Нормально лишь отчасти получилось.

– В партии мы вас восстанавливаем, – сказали мне в итоге, – но на работу устраивать не будем.

Выговорёшник строгий вlepили, но это всё же не исключение. Нормально, думаю, время пройдёт, всё забудется. Получилось не совсем так. Совсем не так. Из партии не турнули, но шлагбаум на трудоустройство остался закрытым.

Куда ни сунусь, как прокажённый, – не берут. Вагоны ходил разгружать, на стройке подрабатывал. Как-то утром возвращаюсь домой с товарной станции, уставший, навстречу инструктор горкома комсомола:

– Ну, как – жена от тебя не ушла ещё?

С ехидной ухмылочкой спрашивает.

– Да нет, – говорю, – и не уйдёт, не дождётесь.

– Не знаю, не знаю...

Наконец нашёл место грузчика в магазине. Устроился в начале месяца, числа третьего. Контингент грузчиков соответствующий: пьяницы, прогульщики. Магазин Облпотребсоюза, назывался «Таджикистан», в самом центре города. Большущий, прилавки километрами. И машина за машиной с товаром. Вина, фрукты, соки-воды, консервы... Одну разгрузишь, другая сигналит... Упахивался, к вечеру еле себя таскал. Мои коллеги грузчики появлялись в магазине эпизодически: то один пьяный, другой в запое, третий с похмелья,

то в обратном порядке. Только я в единственном числе каждый день с утра до вечера на посту. Но как деньги в конце месяца получать, все гальванизировались – подползли. Директор на собрании трудового коллектива приказ по премии оглашает:

– Сидоров, премия тридцать процентов, Петров – двадцать пять, Иванов – двадцать пять...

Всех перечислила, кроме меня. Собрание уже шло, появился представитель Потребсоюза. Физиономия лоснится, одеколоном прёт, животень пиджак рвёт. Я говорю:

– Что-то ни Петрова, ни Сидорова я почти не видел, чаще всего один горбатился с товаром.

– Вы знаете, – директор медовым голосом объясняет, – вы месяц не полностью отработали, пришли к нам второго числа, а премия выписывается только за полный месяц.

– Тогда я у вас вообще не буду работать. За них не буду мантулить!

Директор заюлила:

– Не уходите, что-нибудь придумаем!

Прекрасно видела, как я работал. Продавцы мне говорили: у нас давно такого грузчика не было. Представитель Облпотребсоюза, этот лощёный кабан, шепчет сквозь губу директору:

– Увольте его, подаст заявление, и увольте, пусть уходит.

И я понял, круг замкнулся, надо рвать из этого города, менять место жительства.

Жена работала на ткацко-отделочной фабрике, до неё не добрались, а на маму, как я попал в эту мясорубку, наехали под удобным предлогом. Мама преподавала в педагогическом училище пение и подрабатывала в церковном хоре. Человек-то она неверующий, но профессионал в пении... Её директор педучилища вызвал и говорит:

– Вы преподаватель и вдруг поёте в церкви, это несовместимо для советского педагога... Уходите из хора.

Мать, мудрая женщина, поняла: раз зацепились, хорошего не жди, всё равно из училища уволят. Оставила работу мирскую и стала петь в церкви. А сейчас даже пенсию повысили за счет заработка в церкви.

Как я из грузчиков ушёл, мы с мамой давай думать: как дальше жить? Помараковали и решили обменивать квартиру на Омск, где бабушка по-прежнему жила, уже не в здании гостиницы «Сибирь», откуда я полетел вниз головой с жёстким приземлением на асфальт, но тоже в центре. Как говорится, где родился, там и пригодился. Тем более – в Омске я два раза родился. После асфальта ни один врач не верил, что буду жить...

Удачно поменяли мы квартиру, и попал я на работу в здание, что в ста метрах от места моего памятного падения... И, что самое интересное, стал на долгие годы в определённой мере коллегой Вовы-кагэбэшника...

Демонстрация без полковников

Поначалу в Омске хотел в газету устроиться. В институте доводилось сотрудничать с нашей многотиражкой, пописывал о студенческих буднях и праздниках, о работе народной дружины, даже в областной газете пару заметок напечатали. Думаю, дай попробую. Месяц по договору в «Вечёрке» бегал, высунув язык, исключительно на гонорарах заработок, а значит – крутись. В штат не берут, своих журналистов девать некуда. Пусть штатный мало строчек даёт, а не выгонишь, если залётов нет. Ну, и сидит на окладе, ковыряется помаленьку.

От ребят журналистов узнаю: есть вакансия в управлении по охране государственных тайн в печати (другое название – Обллит). Руководил управлением Михаил Ильич Шабаров. Было ему тогда за пятьдесят. На голове редкий ёжик седых волос. Круглолицый, нос деревенской породы – картошкой. Массивные очки. От земли мужик. В графе «образование» – сельхозинститут, совпартшкола. Вершина карьеры неслабая – много лет первый секретарь райкома партии в одном из южных районов области. На границе с Казахстаном. С той местности вынес фольклорную поговорку:

– О-о-о, шибко образованный человек – казпедтехникум десять лет на один пятёрка учился.

В хорошем настроении мог кого-нибудь поддеть «казпед-

техникумом». Первый секретарь в районе это непрерываемая величина. Властью обладал колоссальной. Царёк. Все и вся ему подчинялись. По мановению руки первого всё крутилось на подведомственной территории. Обязанностей хватало, но и свобод. Тогда как руководство Обллитом – явное понижение. По косвенным признакам я сделал вывод: Шабаров в мечтах карьерных за свои заслуги на сельской ниве метил на должность завотделом обкома партии или даже секретаря обкома. По возрастным партийным меркам семидесятых годов Михаил Ильич был молодняк. В политбюро сидели старцы за семьдесят, в обкомах партии тоже на ответственных должностях сорокалетние редко встречались. Но его загнали в тупик, из которого одна дорога – на пенсию.

В году семьдесят девятом я неудачно высунулся, дурак он в каждом из нас сидит и ждёт, как бы в лужу посадить. Открываю центральную газету и глазам не верю... Наш генеральный секретарь ЦК КПСС, наш дорогой Леонид Ильич, наш небожитель, представлен в человеческом виде. На весь разворот фоторепортаж, где Брежнев на отдыхе: на берегу реки, в саду под яблоней, в кругу семьи. Впервые показан не в статуарном виде с четырьмя звёздами Героя Социалистического Труда, не в сугубо официальной обстановке, а в сетчатой несерьёзной шляпе, плетёнках на ногах, в рубашке с закатанными рукавами. Много лет нам с газетных полос фотографиями упорно вдалбливали, что он только работает, работает и работает, не вылезая из пиджака со звёздами и

вдруг... Это был даже не фоторепортаж по большому счёту – подборка фотографий на тему «Минуты отдыха генерального секретаря». Брежнев молодой, бровастый, энергичный. Я был поражён, побежал к Шабарову:

– Михаил Ильич, смотрите, как генеральный секретарь показан, ни разу в жизни таким не видел.

Мы, являясь контролирующим органом, должны были реагировать на подобные кардинальные перемены в подаче образа первого лица государства, прямая обязанность цензора знать, как можно в прессе руководителя страны давать, чтобы не допустить ляпа... Был особый документ, где говорилось, как показывать образы (так и говорилось «образы») членов Политбюро. И если фото эксклюзивное, ранее не получавшее разрешение на публикацию, для его печати необходимо было согласование с соответствующим отделом ЦК КПСС. Папарацци умерли бы с голоду...

Шабаров однажды вызывает к себе и показывает фото. На снимке запечатлён письменный стол, на нём лежит газета с крупным заголовком «Продовольственная программа», под заголовком очки. Этакий натюрморт. «Что вы тут видите?» – хитренько на меня уставился Михаил Ильич. Чувствую, с подвохом вопрос, но что тут скажешь.

– Стол, – говорю, – вижу. Ну, газету, очки. Больше ничего.

– Да как же вы, – Шабаров даже снял свои очки и потряс ими, – как же так не можете сообразить-то. Очки о чём говорят? О чём? Что «Продовольственная программа» является

очковтирательством.

– Нет, позвольте не согласиться, – возражаю начальнику, – очковтирательство – это из области карточного шулерства, а не из области оптики. Шулера очки втирают, когда ловкостью рук, достают карты высокого очкового содержания.

– Вы не поняли, – Шабаров отверг мои этимологические доводы, – здесь в переносном смысле.

«Очковтирательная» фотография была опубликована в центральном журнале.

– Представляете, какая ошибка? – начальник доводил до меня официальное мнение о фото.

Оказывается, не он обнаружил «очковтирательство». Фото прислали из Москвы по линии Главлита, как пример грубой идеологической ошибки цензора. С каким маниакальным вывертом надо иметь мозги, чтобы сделать такой изощрённый вывод...

Увидев фотографии Брежнева не на трибуне, я был крайне поражён и побежал к Шабарову, дескать, разрешено изображать домашнего Леонида Ильича.

– Смотрите, как генеральный секретарь показан! – подал Шабарову газету.

Он взял, посмотрел, и вдруг отшвырнул газету, как что-то непотребное:

– Что я первых секретарей не видел?

С неприязнью сказал. Я почувствовал себя дураком, пустившимся в пляс перед начальником, когда надо было под

kozyрёк отдать

Шабаров, сглаживая ситуацию, заговорил о чём-то другом. Я тихонечко газету собрал и ушёл. Понял, не любит он секретарей.

В ответственный момент мог взять на себя смелость, принять непростое решение. Был жуткий случай, когда у нас потерпел катастрофу самолёт. 1984 год, октябрь. В два ночи при посадке Ту-154, он шёл из Краснодара в Новосибирск с посадкой в Омске, произошла трагедия. Получилась дикая несогласованность, на взлётно-посадочную полосу выехали тепловые машины для просушки полосы от влаги. Две огромных машины, по семь тонн горючего в каждой (для работы тепловых агрегатов). Самолёт в них врезался, воспламенилось топливо и попало в фюзеляж, погибло 178 человек. Многие сгорели заживо.

Цензорам, чтобы показать наличие авиакатастрофы, надо было по нашим правилам иметь разрешения (письменные) целого ряда органов. В том числе «Аэрофлота», министерства гражданской авиации, ВВС, генерального штаба, ГО, КГБ и иногда ЦК КПСС. Огромное количество организаций. Практически нам, провинции, добиться разрешения невозможно. Но ситуация из ряда вон: самолет упал, погибли люди, родственники сходят с ума. Вопрос стоял: хоть как-то оповестить через СМИ людей. Надо вести опознание, следствие уже началось... Пассажиры летели кроме Омска, в Новосибирск, кто-то с пересадкой – в Тюмень, Бар-

наул, Томск, Магадан... И что делать? На Шабарова наседали из милиции, прокуратуры, обкома партии: срочно решайте и разрешайте. Он ринулся звонить в Москву. Главлит не может решить проблему, переадресовал в ЦК, а там нет нужных людей, имеющих право давать разрешение авральным способом. Шабаров как-то вышел на Гришина. Как уж ухитрился. Гришин, конечно, величина – первый секретарь Московского горкома партии, член политбюро ЦК КПСС. Он, не имея, в принципе, никакого отношения к Омску, дал такое разрешение. Я сам подписывал «Вечёрку» с этим крошечным сообщением, что потерпел аварию самолет такого-то рейса, родственникам пассажиров дополнительную информацию можно получить по таким-то телефонам... Не говорилось ни о жертвах, ни о чём больше... И вот из-за этих нескольких строк была дикая свистопляска. Ошибиться нельзя. Ошибись – и тебе кердык. Шабаров мог упереться рогом: не положено по всем нашим документам без соответствующих резолюций. Главлит занял позицию: сами решайте. Разрешение Гришин дал устное. Шабаров шёл на огромный риск. Проще было не подписывать, но и это тоже невозможно. Шабаров молодец, проявил самостоятельность. Даже мужество по тем временам.

Среди главных идеологических проколов, которые, по мнению Шабарова, надо безжалостно выкорчёвывать, было воспевание патриархальщины и распространение космополитизма. Это шеф вынес из своего районно-партийно-секре-

тарского прошлого. Я однажды ловко сыграл на этом. Ниже обязательно расскажу. Что касается темы «Михаил Ильич в минуты отдыха» – имел наш шеф слабость с удочкой посидеть. Компания друзей у него имелась, таких же на рыбалку повёрнутых. Однажды в пятницу я проверял библиотеку, быстренько всё сделал и домой, чё, думаю, в управление тащиться. В замечательном настроении (полдня оттяпал для личного пользования) сажусь в автобус и глядь – Шабаров стоит в пару метрах от меня. Видок не статуарный, как на тех фото Брежнева: в болотных сапогах, в телогреечке, кепчонка на голове затрапезная, в руках удочки и сачок, рюкзак за спиной. Он меня тоже узрел. Вида не подал, в окно упёрся, я тоже сделал физиономию кирпичом, будто не заметил начальника в непотребном для рабочего времени одеянии.

Жили мы с ним по большому счёту вполне. В первую встречу, просясь на работу, я честно рассказал о себе.

– Биография у вас пятнистая, – сделал вывод Михаил Ильич, – но возьму.

Позже мне доложили, категорически против меня, при выдаче допуска к секретам, был один кагэбэшный подполковник, напирал на выговорёшник, мой строгащ, дескать, с червоточиной коммунист, но Шабаров отстоял:

– Он коммунист, а почему мы не должны коммунистам верить!

Думаю, Шабаров устал от женщин, а в управлении тогда трудились исключительно женщины, немалым числом

– блатные. Организация закрытая, в газету объявление не напишешь с приглашением на работу. Выбор небогатый. И тут я, он и взял. Ему нравилось, что я в прошлом следователь. Иногда расспрашивал об особенностях работы следака, с уважением к ней относился.

Месяц мне оформляли допуск к секретной документации, ходил, как на работу каждый день в управление, но в курс дела не вводили, и только с получением допуска приступил к выполнению непосредственных обязанностей. Шабаров вызвал к себе в кабинет и подал листок:

– Почитайте внимательно.

В тексте говорилось о переброске атомной подводной лодки с баллистическими ракетами на борту с Северного флота на Тихоокеанский. Внимательно читаю, смотрю, как фраза составлена, запятые анализирую, нет ли орфографических ошибок.

– Ну, и какие вы здесь ошибки находите? – спросил Шабаров.

– Никаких, – говорю, – грамотно написано.

– Здесь двадцать пять ошибок.

Это был тренировочный текст. Ошибка, которую должен поймать зорким глазом цензор, это есть то, что попадает под так называемый «Перечень сведений запрещённых к открытой печати». Если цензор, проверяя газету, находит ошибки, он их вычёркивает, составляет так называемые вычерки, в которых говорится, что вычеркнуто и на основании че-

го. Вычерки из газеты убираются, только после этой чистки цензор, ставит свой штамп (на нём выгравировано «РАЗРЕШАЕТСЯ»), пишет резолюцию в «в печать», ставит подпись. Отпечатают тираж, но заказчик им ещё не вправе распоряжаться по своему разумению, принеси цензору контрольный экземпляр, только когда на нём появится цензорский штамп (теперь уже с резолюцией «в свет») – можно рассылать подписчикам. Вычерки отсылали в Москву, там утверждалось правильность принятого решения.

Москва постоянно присылала в управление тренировочные тексты, мы, редакторы, решали, нам, как студентам, оценки ставили. Главлит держал своих подчинённых на местах в тоне бдительности. У Шабарова была страстишка решать «кроссворды» тренировочных текстов. Много раз заставал его за ними. Тексты присылали с ответами. Михаил Ильич бился над ними, не подглядывая, и радовался как дитя от интеллектуально-цензорских побед.

Интересен факт, я больше месяца проработал, прежде чем узнал, что управление по охране государственных тайн в печати, не что иное, как цензура, а я – не кто иной, как советский цензор. А должность «редактор» – это для открытого употребления. Как только получил допуск к секретной документации, первое, что выдали – «Инструкцию цензора». Вот тогда и понял, куда я попал. Всю жизнь понятие цензора ассоциировалось с душителями Пушкина (поэт писал в «Послании цензору»: «Угрюмый сторож муз, гонитель давний

мой...»), Лермонтова, ему цензура на десятки лет зарубила строфы из «Смерти поэта»: «... Вы, жадною толпой стоящие у трона, Свободы, Гения и Славы палачи! Таитесь вы под сению закона, пред вами суд и правда – всё молчи!..» И вот я читаю катехизис советского цензора, права и обязанности труженика данного поприща. Свои права и обязанности... Которые, как потом узнал, вели по своей сути отсчёт от указа Екатерины Второй от 16 сентября 1796 года. Императрица официально оформила государственную цензуру. Пётр Великий в 1721 году начал это дело, Святейшему Синоду поручил предварительный надзор за печатанием духовных книг. Екатерина Вторая отменила своим указом все частные типографии, жестко регламентировала печатание литературы и её ввоз. В Советском Союзе органы Главлита были созданы в 1922 году (в 1982 мы праздновали 60-летний юбилей, премии выдавали), хотя цензура была с первых дней советской власти.

Что интересно, коллеги по Обллиту в моём присутствии за месяц ни разу не произнесли «цензор», «цензура». Инициация произошла с выдачи «Инструкции цензора».

Не по себе было первое время от осознания себя в качестве цензора...

Учреждение наше (много позже узнал) было антиконституционным. Ни больше и ни меньше. Вне закона. Понятие цензуры противоречило и сталинской Конституции, принятой 5 декабря 1936 года, и брежневской от 7 октября 1977-го.

Лишь в Конституции 1918 года цензура была прописана отдельной строкой, с декабря 1936 года этот пункт якобы изъясали из советской действительности. Но созданное пламенными революционерами государство никак не могло освободиться от двойной жизни. Столько лет после революции прошло, мы всё ещё в игры подпольные играли. Учреждение антиконституционное, значит, не может существовать законов, определяющих его статус, права и обязанности. Закон о КГБ был, правовые нормы на существование комитета прописаны, тогда как у нас всё зиждилось на уровне подзаконных актов, приказов, ведомственных распоряжений. Они имели гриф или «секретно», или «совершенно секретно» (как мы говорили – «два Сергея»), или документы для служебного пользования – ДСП. Само собой, о содержании и наличии таких бумаг знакомым не расскажешь.

Официально мы назывались редакторами управления по охране гостайн в печати. И только в секретной нашей документации именовались цензорами. Уже в ДСП фигурировали только как редакторы.

Было в нашем управлении человек двенадцать, в Москве, поговаривали, аппарат Главлита насчитывал более тысячи человек, чуть ли не две тысячи...

Когда меня вводили в профессию, то строго-настроено предупреждали: никаких контактов с журналистами, тем более, личных взаимоотношений. Шабаров несколько раз повторил, наставляя меня с глазу на глаз:

– Будьте осторожны с журналистской вшивобратией. Язык у всех длинный, а ум редко у кого не короткий. Людей этой профессии не должно быть в круге ваших близких знакомых.

Общаться цензору по цензурным заморочкам позволялось только с редакторами. Жизнь, конечно, корректировала это правило. В больших газетах имели дело с ответственными секретарями, замами, в маленьких, если редактор отсутствовал – с его замом. Редакторы областных и городских газет имели полный «Перечень сведений запрещённых к открытой печати», редакторы многотиражных и районных газет – «Малый перечень сведений запрещённых к открытой печати». Так что не открутишься «я не знал, мне не говорили».

Журналистов Шабаров мягко говоря недолюбливал. Характеризуя того или иного представителя их рода-племени с удовольствием говорил: «Шибко образованный человек – казпедтехникум десять лет на один пятёрка учился».

Для журналистов, ни одна строчка которых не проходила мимо наших глаз (уж кто-кто, а цензоры были самыми внимательными читателями), управления по охране гостайн в печати как бы не существовало. Цензорам, как говорил Шабаров, позволительно было иметь дело с редакторами, им разрешалось знать о нашем учреждении, для них Обллит проводил учёбы. Если появлялся отчаянный журналист, статью которого зарубали к печати, и он приходил с требова-

нием ознакомиться с нашими правами, нормативными документами, мы такого искателя правды отправляли прямым в КГБ за соответствующим допуском. Но даже если предположить, что КГБ вдруг скатится с катушек и даст такому правдоискателю форму допуска, мы бы ничего ему из документов не показали, по простой причине – он не работник нашего учреждения.

В организации, где много женщин, мужчина всегда крайний. По праздникам с демонстрациями Шабаров бросал меня на газеты. Первый раз на 7 Ноября попал на такое дежурство. Иду в редакцию, центр города уже перекрыли милицейскими кордонами, не пройти. Но я показал своё облитовское удостоверение, пропустили без вопросов. «О, – думаю, – у меня тоже власть». Материалы по демонстрации с колёс в газету идут, в редакции полная запарка, я смотрю «Омскую правду», а на первой полосе здоровенное фото – панорама праздника крупным планом. И на снимке два полковника, один ещё более-менее допустимо – спиной стоит, но крупно погон со звёздами, а другой во всей офицерской красе в первом ряду браво шагает в колонне. Полковники для меня – это как пресловутая красная тряпка для быка. У нас категоричное правило: запрещено помещать в газете фото военного в звании выше майора, если не указываешь в тексте его открытую для показа в Омске должность. Возможно, этого офицера вообще нельзя показывать в военной форме. Говорю редактору «Омской правды»:

– Укажите в подклишовке (подписи к фотографии) его открытую должность, тогда – сколько влезет. Просто так полковника пропустить не могу.

Надо, к примеру, написать: «Жители Омска на праздничной демонстрации. В первом ряду идёт полковник, заместитель начальника такого-то военного училища...» Редактор вызывает фотографа:

– Ты что мне наснимал, понимаешь, генералов? Цензура твоё фото зарубила! Уволю!

Но говорит, ёрничая. Фотограф нисколько не смутился.

– Щас, – успокаивает начальника, – всё забабашим в лучшем виде. Был полковник, делаем фокус-покус – и нетушки, разжалуем до неузнаваемости.

Через полчаса приносят мне оттиск. То же фото, но ни одного полковника. Надо сказать, тогда никаких компьютерных технологий, персональных компьютеров не было даже в США. Фотоумельцы могли и без «Фотошопа» изменять действительность с ног на голову. Злополучному полковнику надели через плечо праздничную ленту, замазали кокарду... Я потом ржал, не мог остановиться. Человек шёл в колонне в шинели, в звании, а получился на фото в гражданском пальто с лентой и в чужой шапке. Сослуживцы наверное не один месяц ухахатывались:

– До каких чёртиков надо напиться, чтобы так нарядиться на демонстрацию.

Замша-атаман

Наиболее колоритной фигурой в управлении была Екатерина Михайловна Божко – заместитель начальника управления, секретарь парторганизации. Термоядерный реактор в юбке, правда, юбки не любила. Ммеея много в характере мужского, предпочитала брючные костюмы. Громкая, деятельная. Невысокого роста, хорошо сложена. И ноги были красивые, можно и не паковать в брюки. На одиннадцать лет меня старше, но энергии на пятерых.

Настоящая казачка, родом с донской станицы. С какой конницей занесло в Сибирь – не знаю. Характерный южный говор с мягким «г». Словечки исторической родины в речи. Спрашивая про мою дочь, обязательно говорила:

– Как твоя доню?

Любимое словечко, характеризующее «плохую» женщину – лярва, а мужчину, любителя женщин – парень кобелястый.

Чёрные густые волосы. Карие глаза, целеустремлённый взгляд. И заточенность на большие должности. Образованием не блистала. Заочным макармом окончила географический факультет пединститута. Это в плане повышения интеллектуального уровня мало Екатерине дало, брала напором. Скорее всего, вариант карьеры в школе сразу отбросила. Для её амбиций школа – это слишком мелко плавать. Как-то разоткровенничалась в частном разговоре.

– Понимаешь, Роман, – призналась, – у меня к руководству с детства огромная тяга. Всей улицей командовала. Меня так и звали: Катька-атаман.

Поднимая трубку телефона, отвечала:

– С вами говорит заместитель начальника управления по охране государственных тайн в печати при Омском облисполкоме Божко Екатерина Михайловна.

Только так. Никаких «алё». Мечтала совершить однажды прыжок в обком партии. Или сделаться начальником нашего управления. Это её вполне бы удовлетворило. Начинала в комсомоле. Не могу утверждать с фактами в руках, но не исключаю, могла через постель двигаться к цели.

Несколько раз мы Обллитом выезжали на природу с работниками обкома, облисполкома. На базы отдыха в Красноярку или Чернолучье. Ездили с компанией, где были должности не выше заместителей начальников отделов. Средненький уровень, как раз нам по чину. Гуляли знатно. Как-то сидим рядом с Екатериной, она мужичка из обкома приметила, шепнула мне:

– Этот будет мой!

Мужичок окультуренный, с некоторым лоском, без наглости. По виду не обвинишь в отчаянной «кобелястости». Екатерина пару рюмашек замахнула и отвалила к нему, подседа вначале рядом, а потом они исчезли в каком-то коттеджике.

Однажды я стал невольным свидетелем фантасмагорической картины. Тот памятный выезд устраивали строители.

Шикарный дом отдыха, полный пансион, столы ломились от закуски и выпивки. И пили все по-чёрному. Даже драки были. Я, чтобы себя контролировать, не доходить до полной зюзи, периодически вылезал из-за стола на воздух. Освежиться и лишнюю стопку пропустить, не брать, так сказать, очередную высоту. Один раз сквозонул от стола, выбрался подышать. Стояла зима... Собираясь в поездку, я лыжи прихватил. Какое там катание... Даже из чехла их не вынимал... Вышел из корпуса, а уже поздно было. Отбой давно миновал. Тишина загородная, в тёмное небо сосны высоченные уходят, редкий снежок пролетает. Мимо корпуса аллея проходила, освещённая фонарями. В их свете снежинки падают... Лепота... И вдруг вижу своим пьяным взором – свора собак в конце аллеи. С первого взгляда показалось – собаки. Присмотрелся, крупные какие-то. Идут не спеша. Но слишком крупные. После яркого света не могу разобрать сразу... Может, волки? Ведь лес вокруг... Потом пригляделся, вот те раз... Ни волки, ни собаки, это люди на четвереньках перемещаются. Человек семь. Воют для убедительности. Один голову задерёт, в тёмное небо пустит жуткую песню, другой подхватит:

– У-у-у-у!

Третий ногу задерёт, как пёс на столбик. Приспичило, будто бы собачке... Одеты кто во что. В куртках, дублёнках, один в свитере, но в шапке с длинными ушами. Он всё норовил трясти ими из стороны в сторону, изображал длинно-

ухого спаниеля.

Это был пьяный театр. Когда ближе подошли, я похолодел, впереди стаи вышагивала на четвереньках Екатерина Михайловна. В красной лыжной шапочке, меховой курточке, лицо совершенно окосевшее. Не воеет, вышагивает королевой бала, а за ней пять или шесть мужиков. Конечно, все с образованием, должностями, положением... Других на том мероприятии не было. И не пацаны желторотые, матёрые мужики... Они разыгрывали собачью свадьбу. Я в тень от корпуса шагнул и замер. Пьяный-пьяный, а понял, если Екатерина меня увидит и узнает – со свету сживёт свидетеля её непотребства, её сучьей роли. Столбом стою и жду, когда проследуют мимо. Шли собачьим строем в сторону бани... Миновали меня, я скоренько нырк в корпус и никому ничего не сказал.

Екатерина любила выпить, громко попеть песни. Как затянет, голосище отличный, густое сильное меццо-сопрано... Как затянет: «Чёрный ворон, что ж ты вьёшься над моею головой? Ты добычи не добьёшься, чёрный ворон, я не твой!..» Или: «Черноглазая казачка подковала мне коня...» Рассказывала, что сама может запросто коня подковать, дед был кузнецом. Думаю, не только коня, и тигра могла подковать при надобности... Домой часто к себе приглашала. В рестораны ходили под её чутким руководством. Любила шумные компании. Она всегда в центре, всегда распорядитель, всегда тамада. Меня заставляла стихи читать:

– Ну-ка Есенина! «Белая берёза под моим окном...»

За столом была раскованная, свободная. На работе ничего подобного. На работе на сто восемьдесят градусов другой человек. То и дело впадала в состояние административного восторга, начинала, как глухарь, токовать, сама не слыша, что поёт: дисциплина, бдительность... Периодически затевала борьбу с опозданиями. Дверь в управление в девять приказывала закрывать. Дверь в кабинет начальника, где мы собирались на совещание, тоже на ключ. Я обязательно ухитрялся опоздать в проверочный период. Дочь в садик отводил, там провозишься, потом пока доедешь... Поднимусь на этаж, а дверь в управление закрыта... Открывала Мария Игнатьевна, начальник спецчасти, наш чекист, наш солдат КГБ. Позже расскажу о ней. Она на совещания не ходила, если не было вопросов по спецчасти. Пройдёшь одни двери, затем стучишься в кабинет начальника и проходишь под осуждающим взглядом Екатерины Михайловны на своё место... Следовала нравоучительная речь о дисциплине... Шабаров молчал, она распекала...

Если на партсобраниях я что-то начинал говорить против шерсти, она стучала карандашиком:

– Роман Анатольевич, вы не забыли, с чем и каким вы к нам пришли? Напоминаю: со строгим выговором!

Как я ждал, когда снимут выговорёшник. Сняли и... уже на следующем собрании прозвучало:

– Роман Анатольевич, вы не забыли, что с вас строгий вы-

говор только-только недавно снят?

Любила обличающее возвысить голос:

– Вы личное ставите выше общественного!

Один посетитель, Екатерина отказала ему в публикации, ссылаясь на указание обкома КПСС, бросил:

– Это слепое решение!

Екатерина аж побледнела:

– Как вы смеете называть решение обкома слепым?! Это контрреволюция!

Такая была замша.

Однажды мы сидели в ресторане, я оказался рядом с Шабаровым. Приняли крепко, он наклонился ко мне и вдруг говорит:

– Знаешь, Роман Анатольевич, я сейчас пойду к Екатерине, вот так её обниму, – Шабаров руку мне на плечо положил, – и всё завертится-завертится, – он даже мечтательно глаза закрыл, – завертится... Но нельзя.

Он прекрасно понимал, с Екатериной завертится... Она для Шабарова была клад. Спихивал на неё добрую часть своей работы, она с удовольствием и рвением бралась за любые поручения. Всякие организационные мероприятия: ремонты, субботники, демонстрации... Частенько Шабаров отправлял её на всевозможные совещания, туда, где разрешалось представлять управление не первым лицом. Екатерина ходила с превеликим удовольствием. Всех знала, все её знали... Купалась в партийной или профсоюзной ту-

совке...

С мужем у Екатерины не ладилось. Когда ей было лет сорок пять, он ушёл к молодой. Преподавал в автодорожном институте и присмотрел студентку. Не совсем молодняк. С вечернего отделения, лет на десять моложе себя. Дочь у Екатерины выросла непутёвая. Поучилась в институте, бросила, один раз вышла замуж, второй... Сама Екатерина, это уже Обллит закрыли, вышла замуж за армянина, на «маршрутке», на «газели» работал. Говорят, поколачивал Екатерину, однако она стойчески терпела и даже благоговела перед ним:

– Гарик мужчина настоящий.

То есть, не какой-то «парень кобелястый». После смерти «настоящего мужчины» очень его оплакивала...

Я и генеральный секретарь

Год был этак восьмидесятый или восемьдесят второй. У генсека ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева чуть ли не последняя поездка по стране. Ветхий старец он, как потом выяснилось, просился на покой, но окружение боялось резких перемен на свои головы и задницы. За пару месяцев до этого я слушал по западным голосам репортаж о его поездке в Берлин. Говорили: Брежнев совсем стар, трясутся руки, подрагивает голова, но ещё ездит в открытой машине, приветствует толпу. Шёл период его заключительной активности. В Казахстане собрали партийно-хозяйственный актив, на партийном сленге – партхозактив. Туда съехались первые секретари сибирских и казахских обкомов партии, директора крупнейших заводов региона, весь коммунистический бомонд... Возможно, товарищи по партии убедили генсека: надо показаться народу, советская общественность жаждет вас видеть и слышать.

Мне повезло, как тому утопленнику, на моё дежурство выпал номер «Омской правды», посвящённый партхозактиву в Казахстане. Обычно газета выходила на четырёх полосах А2 формата, тут разразилась восьмью, и до последней точки всё отдано материалам по эпохальному событию с участием генсека. Речь Брежнева, речи других партийных деятелей, экономические выкладки с массой цифр. В девять ве-

вчера принесли оттиски. Уже хорошо для меня – не ночью. Я принялся читать, и мороз пошёл по коже: одну ошибку поймал в речи Брежнева, вторую... Не орфографические, это не моего ума дело, среди большого количества названных генсеком предприятий было двенадцать оборонных заводов, которые ни в коем случае нельзя упоминать в открытой печати... Среди них пять из нашего города, все «Перечнем» запрещены к публикации...

Однажды первый секретарь обкома КПСС на профсоюзной конференции в своей речи назвал завод «Полет». Пусть не раскрыл профиль предприятия. Не заявил во всеуслышание, что «Полет» выпускает не только стиральные машины, ещё ракеты и спутники. Так не сказал, но назвал предприятие, которого для открытой печати не существовало. И раскрыл его дислокацию, дал привязку к нашему городу. Я отказался подписывать газету. На меня напустился ответственный секретарь «Омской правды». Был такой Георгий Петрович, маленький, кудрявенький, задиристый. Мы не раз бодались с ним по поводу «подписывать не подписывать», и возникал между нами диалог глухого с немым. Он говорил раздосадованным голосом на мои претензии:

– Ребята...

Я был перед ним один, но его обращение обязательно звучало во множественном числе.

– Ребята, – устало произносил он, – вы не понимаете, у нас завод, у нас конвейер, у нас процесс, а вы подсыпаете песок

в отлаженный механизм.

– Это надо убрать, – «подсыпал» я песок.

– Ребята, это невозможно, – настаивал он.

– Это надо убрать, – не слышал я его доводов, – с этим заводом подписывать не буду.

Звоню Шабарову, тот командует:

– Не подписывай, жди!

Сам летит в обком. И пытается пробиться к первому секретарю. Тем временем на меня давят уже и главный редактор, и директор типографии, и ответственный секретарь с его «прекратите подсыпать песок». Им надо печатать тираж, а тут мешок «песка». По их разумению: первый секретарь сказал, значит, правильно. Первый так и вклеил Шабарову, даже не ему лично, не удосужился начальника какого-то Обллита допустить к себе, через помощников передал: «Как у меня в речи есть, так и печатайте». Шабаров позвонил мне с половинчатым решением, тоже гусь тёртый, нашёл решение:

– Подписывай всё, кроме той полосы, где упоминается завод.

Беспрецедентный случай, я так и сделал. Газета вышла. Шабаров написал объяснительную в Главлит и, говорят, из ЦК КПСС нашему первому секретарю было внушение: подобные оговорки впредь не допускать.

Казус случился на закате Советской власти, тогда уже были кой-какие послабления, я же с набором вопиющих оши-

бок и нарушений столкнулся, когда Советская власть высилась вселенским колоссом, мысли не было, что может рухнуть в одночасье. Я газетчикам заявляю:

– В таком виде подписывать не буду!

Что тут началось:

– Ты понимаешь, на кого ты руку поднимаешь? Это речь Генерального секретаря, Председателя Верховного Совета, это слова Леонида Ильича, а ты рубишь своё тупое «нельзя». Кто ты такой? Ты, вообще, в своём уме? Подумай хорошо, что ты несёшь? Официальные материалы, а ты...

Пойди у них на поводу, страшно подумать, что могло быть. И с ними тоже. Конечно, не тридцать седьмой год. К стенке не поставили... Но меня бы попёрли однозначно из Обллита, главному редактору областной газеты тоже бы не поздоровилось, как и Шабарову...

Как все мы трепетали перед обкомовскими материалами. Например, «Омская правда» печатает доклад первого секретаря обкома КПСС. Все встают на уши. Читает главный редактор, затем цензор, после него отсылают в обком на перечитку, оттуда снова цензору несут. Ночь-полночь, а мы все как настёганные... Здесь же материалы, выше которых не бывает...

В материалах из Казахстана имелось одно «но». Пришли они в Омск не из Телеграфного Агентства Советского Союза, знаменитого ТАСС, присланы в обком партии напрямую из Казахстана.

А что такое ошибиться даже с тассовским материалом (с Тасей, как ласково называли журналисты) я знал. Был на памяти прокол. У Татьяны Викторовны Нежной, коллеге по цензору, которой, кстати, больше подходила фамилия Жёсткая.

Из себя видная, даже красивая. К каждому празднику обязательно новое платье. Своя портниха. Умела носить многочисленные наряды. Статная фигура, стройные ноги. Непременно маникюр, обязательно причёска. Всё к месту и со вкусом. На три года была старше меня. Филолог. Какое-то время работала в школе. Умная, ироничная, хорошо знала поэзию начала двадцатого века. Но внутри у Нежной бушевали бури истеричности, её разрывали противоречия, и не всегда она с ними справлялась. В отдельные моменты эмоциональность брала верх. Могла кому-нибудь подлянку сделать, тонко унижить. Видимо, внутренняя потребность была, хотя старалась сдерживать её. Часто мы с ней работали на «Омской правде». Это жуткий поток, газеты идут и идут, идут и идут. «Омская правда», «Вечёрка», молодёжка, многотиражки... Надо зад прижать и читать, читать, читать. Она сидит, уткнувшись в газету, сидит. Столы наши друг напротив друга... И вдруг как зарычит львицей, отбросит газету:

– А-а-а-а... Я сейчас закричу, я уже не могу! Я уже ничего не могу сделать с собой, я начну сейчас орать! А-а-а-а...

По натуре, кстати, была дотошной, скрупулёзной. В документах у неё всегда образцовый порядок. Записи аккурат-

ные. Не то, что у меня... И читала газеты всегда внимательно... И вдруг как заорёт—:

– Не могу!

Она страдала аллергиями. Как весна, листва вылезет, у неё нос, что у выпивохи – красный, распухнет, течёт из него. Каково ей утончённой моднице, когда сопли ручьём. Носовых платков штук по семь носила с собой... Комплексовала и срывала недовольство на посетителях... Особенно над женщинами измывалась, гоняла из-за какой-нибудь ерунды. Заставляла выполнять все наши инструкции. А это ужас, если им следовать от «а» до «я», можно человека до сумасшествия довести. И доводила. Редакторы её ненавидели в периоды аллергий. Как вцепится в какую-нибудь мелочь, разбабашит её до вселенских размеров...

Муж у Татьяны Викторовны работал на оборонном заводе главным технологом. Интересный мужчина. Но как-то на одном нашем праздничном междусобойчике Татьяна меня удивила. Сидим рядом, несколько рюмок опростали, она начала сетовать:

– Ну, скажи, Роман, только честно, что у меня плохая фигура? Ноги плохие?

Я вполне искренне говорю:

– Хорошие, – говорю, – ноги, фигура классная!

Она продолжает изумлять меня дальше, уже постельные откровенности пошли:

– На меня муж не реагирует. Понимаешь? Он со мной

этим не занимается. Даже раз в неделю не занимается.

Тупо слушаю, что тут скажешь.

– А я-то знаю, – продолжает, – по его темпераменту ему надо... Значит, ходит куда-то на сторону...

Чуть подол не задрала, показывая свои достоинства:

– Ты разве бы игнорировал такую женщину, как я?

Проигнорировал...

Поехал на проверку в сельский район. Обычно на два дня ездили. Я, чтобы не ночевать в сельской гостинице, в один день всё провернул, командировочное удостоверение оформил с открытой датой убытия и вечером домой, следующий день свободный. Сижу дома, один, жена в отпуске, с дочерью на море уехала. Татьяна это знала, и что я собирался раньше вернуться из командировки – тоже. Вдруг звонок в дверь. На всякий случай, я ведь в командировке, тихонько подхожу, смотрю в глазок – Татьяна. Я сразу сообразил, зачем она припёрлась. И не открыл. Отсиделся. Человек неуравновешенный до истеричности, неизвестно, чем могло кончиться, закрути с ней интрижку...

У неё имелась ещё одна особенность – мёрзлячка. Чуть что, начинает кутаться. Как говорил, мы часто вместе дежурили на газетах в Доме печати. Какой кабинет могут выделить цензорам? Самый-самый. Первый этаж, окно на северную сторону, в сумрачный двор, ограниченный стенами с четырёх сторон. Кабинет мрачный, холодный, сырой. Нежная держала в сейфе валенки. Мощные пимы до колен. Надевала

их даже в мае-июне. Не на голые ноги, сначала носки шерстяные натягивала. В платье (пусть что-то и накинет на плечи), вся утончённая и вдруг встаёт, а на ногах... Когда сидит, сама элегантность – зимняя крестьянская обувь не видна из-за стола...

– Мне всё равно, – говорила, – главное комфорт.

Но, конечно, при посетителях элегантные ножки, обезображенные грубыми пимами, не демонстрировала... Если кто-то из посетителей сидел у неё или у меня, а ей надо было выйти, она строго просила:

– Покиньте, пожалуйста, помещение, необходимо сделать конфиденциальный звонок в Главлит.

Выпроводив посторонних, выныривала из валенок, переобувалась...

Нежная прокололась с тассовским материалом. «Вечёрка» затыкая дырку, поставила Тасю. Её присылали в виде готовой формы. В тот злополучный день форма была некачественной, давала слепой оттиск, ответсек газеты скомандовал: набрать самим. Перебрать текст. В материале говорилось, что в Китае большие перемены в руководстве партии и арестована группа китайских руководителей, членов ЦК КПК. Линотипист вместо «все они члены ЦК КПК», набрал «все они члены ЦК КПСС». Он тысячу раз за год набирал ЦК КПСС, и вместо ЦК КПК пальцы порхнули по привычным кнопкам клавиатуры линотипа. Татьяна читать тассовский материал не стала. По принципу, что на нём глаза

ломать, Москвой проверен. Не знала, что Тасю перебирали. Ответсек заметил опечатку, когда тираж в сто пятьдесят тысяч экземпляров был изготовлен. Что делать? Если тираж под нож – номер будет сорван, не успеют новый вовремя сделать. И решил на свой страх и риск («кто там будет про Китай читать») оставить всё как есть.

Газета вышла, и начались звонки в обком, горком, КГБ, к нам в Обллит. В основном звонили пенсионеры, которые всё читают от корки до корки. Началась страшная свистопляска. Собралось бюро горкома. Главному редактору «Вечёрки» по партийной линии вкатили строгащ (может, по этой причине и умер вскоре), ответсека уволили, исключили из партии. К нам предъявили претензии на местном уровне (до Москвы дело не дошло): как это ваш цензор пропустил? Шабаров слукавил:

– По нашим правилам мы не смотрим тассовский материал, он проверен цензорами Москвы.

Хотя мы должны были посмотреть. Горкомовские проявили настойчивое желание своими глазами взглянуть на «правила». На что им Шабаров указал: вы не тот уровень, чтобы Обллит имел право показать вам данный документ. Так оно и было на самом деле. На этом горком умылся. Нежной Шабаров вкатил устный втык. Тянула на более серьёзное наказание, но тогда бы мы признавали и за собой ошибку. В нашу пользу играло обстоятельство: для последующего контроля в Москву, в Главлит, отправляли «Омскую правду» и моло-

дёжку. Но не «Вечёрку». Для её последующего контроля, а также для контроля многотиражек и районов москвичи регулярно приезжали в Омск с проверками. И читали на месте. Прокол Нежной не выявили. Плохой цензор читал.

Материал из Казахстана с речью Брежнева не прошёл гребёнку ТАСС. Девственный. Кроме секретных заводов было несколько цифр из экономических выкладок, которые я подчеркнул, мне они тоже казались не для открытой печати. Вообще в работе цензора приходилось сталкиваться с нюансами политическими, идеологическими, которые не были чётко прописаны в инструкциях, тут сам должен интуицию проявлять. Когда я поступал на работу, Шабаров мне заявил:

– Чем больше на вас редакторы жалуются, тем лучше вы в моих глазах работаете, тем выше у вас будет зарплата, тем чаще у вас будут премии.

У меня в трудовой книжке есть несколько записей-благодарностей за политическую бдительность. Книжка уникальная. Когда переворот произошёл в стране, и коммунистическое руководство отменили, думал: меня с этой книжкой посадят как апологета режима. А если не посадят, на работу никуда не возьмут.

Наделав вычерков в оттисках и отказавшись подписывать, я позвонил Шабарову:

– Что делать? Они со мной не соглашаются.

Начальник запаниковал. Имелось строжайшее правило, согласно «Инструкции цензора» и «Перечня», что органы

цензуры не имеют права вмешиваться в речи членов политбюро. Они были вознесены, судя по нашим закрытым документам, на сакральную высоту. Я уже говорил, что их называли там не личностями, а образами: «...показывать образы членов политбюро», «...не дискредитировать образы членов политбюро...» В речи членов ЦК КПСС мы имели право вмешиваться, но не членов политбюро...

В моём случае не просто член политбюро – генеральный секретарь. На его образ я не посягал, но речь правил... Не зря газетчики кипятились: «На кого ты руку поднимаешь?» Но после нас речь пойдёт по стране. И если мы допустим роковой промах... Страшно подумать... Шабаров понимал: на местном уровне решать такой вопрос не с кем, нужно звонить в Москву. Я сообщаю газетчикам:

– Вопрос решается, будем ждать.

Что тут началось. Потом мне передали, газетчики, получив материалы совещания, злорадствовали: «Ну, на этот раз наши милые цензоры хвосты подожмут». А я вlepил: «Печатать нельзя».

– Да вы вообще что-нибудь соображаете? – кричали они. – Нас всех вместе посадят за срыв номера. Вы, понимаете, на что покушаетесь?

Пытаюсь им объяснить:

– Нельзя, указаны секретные заводы.

Сую им под нос наш «Перечень». Они с пеной у рта:

– Раз у генерального секретаря в речи, значит, никакие

они не секретные. Кончилась секретность!

Пытаюсь до их здравомыслия достучаться:

– Вы же понимаете, наш «Полет» никогда, нигде не упоминается. Вы ни разу о нём строчки, полстрочки не писали за всю вашу историю. Или о нашем танковом заводе «Октябрьской революции»...»

У Брежнева в речи и «Полёт» упоминается, и «Октябрьской революции», и оборонные заводы Новосибирска, Томска... Кроме того Генеральный секретарь говорил, какую гражданскую продукцию выпускают данные предприятия. Не надо быть разведчиком, чтобы понять: если завод отдельно выпускает гражданскую продукцию, значит, он и не гражданскую производит... Мы не могли говорить не только о ракетах и спутниках «Полета», но и о стиральных машинах «Полета»... Только туманно: стиральные машины, производимые на одном из заводов Сибири. Убийственная конкретика...

Мои оппоненты орут, человек пять на меня давят, то по очереди бегают ко мне в кабинет, то толпой нагрянут, хором кричат...

В один момент все схлынули, сижу и думаю: «Господи, какой я идиот! Зачем пошёл работать в Обллит? Зачем?»

Пожалуй, впервые охватило такое отчаяние. «Я настолько маленькая песчинка, а тут генеральный секретарь. За простенькое несогласие с райкомом партии меня топтали, не брали на работу даже грузчиком, сживали со света, а здесь

дело государственной важности, политическое, которое может обернуться уголовным».

Но и пропустить не могу. Ведь это гостайна. И я пособничаю в её разглашении, если подписываю газету.

И не подписать нельзя.

– Вы срываете важнейшую газету, может, самую главную за всю историю «Омской правды»! – шумел на меня главный редактор.

На самом деле так. Подобного номера на моей цензорской памяти не было ни до, ни после. Мы первыми в стране печатали ту речь генерального секретаря.

Шабаров сорвался с постели и полетел в обком, оттуда звонит в Москву. Но облом. Главлит прикинулся валенком: ничем помочь не в состоянии, все ответственные лица из ЦК КПСС уехали в Казахстан. Хотя могли бы по своим каналам связаться с Алма-Атой. Нет, включили дурочку, зачем им этот геморрой. Свалили на нас. Сами, дескать, ищите концы в Казахстане, вы ближе к месту событий.

Шабаров звонит мне и командует:

– Ничего не подписывай!

Обычно обращался ко мне исключительно на «вы», в ситуациях неординарных, переходил на «ты». Подобная метаморфоза была красноречивым сигналом.

Легко сказать «не подписывай». Поздняя ночь, производство стоит, тираж огромный... Под газетчиками земля горит, если сорвут номер такой значимости, кранты – полетят шап-

ки. Надо срочно запускать машину, да несговорчивый цензор «подсыпает песок». Глотки рвут:

– Подписывай, иначе будем на вас жаловаться в обком, в Москву, в ЦК.

В том числе обещает писать жалобу главный редактор «Омской правды», а он член обкома партии...

– Вы хуже Занозиной! – вклеил он комплимент...

Мне не довелось работать с легендарным цензором Антониной Савельевной Занозиной. В журналистских кругах её звали Сталинская Заноза. Экземпляр из того революционного поколения, которое добрую часть жизни ходило в шинельках, гимнастёрках. При крайней невежественности была пропитана до мозга костей коммунистической идеологией. Будучи на пенсии, ходила в Обллит на все партсобрания. Обязательно выступала и поучала. Меня однажды заклеимила:

– Вы оппортунист.

Я делал доклад и чем-то её не удовлетворил. Разоблачила как оппортуниста.

– Вы разве не знаете, что на десятом съезде партии говорилось...

У неё было что-то с ногами, ходила с палочкой. Пристукивает палочкой об пол и поучает. Татьяна Нежная своими издевательскими придирками доводила до сумасшествия газетчиков, Сталинская Заноза – непробиваемым интеллектом. Когда работала на газетах, упорно до конца своей цен-

зорской карьеры вычёркивала в заводских многотиражках всех револьверщиц и автоматчиков. И было бесполезно взывать к здравому смыслу, объяснять, что револьверщицы – это токари, как и автоматчики – не воины с автоматами в руках, что каким-то образом оказались в заводском цехе. Антонина Савельевна тупо твердила:

– Вы выдаёте направление производственной деятельности предприятия.

И выкорчёвывала своей рукой с газетных полос крамолу.

– Да вы что, – возмущались ретивые газетчики, – ведь есть такое понятие «токарно-револьверный станок». Возьмите любой справочник, энциклопедию.

– Не надо мне энциклопедию, дайте мне акт экспертизы, что у вас на заводе это является станком, а не огнестрельным револьвером.

В конце концов, было проще вычеркнуть, чем смешить людей, организовывая акт экспертизы. Если ей было что-то непонятно, а при её кругозоре и образовании, это было нередким явлением, тупо душила, требуя «убрать», «заменить» и так далее...

Вот такой комплимент получил я в ту памятную ночь, сравнили со Сталинской Занозой...

Звоню Шабарову, вызываю подмогу, тяжёлую артиллерию:

– Они меня разорвут, приезжайте! Случай нерядовой, нужно ваше присутствие!»

Шабаров принимает решение:

– Запирайся, выключай свет, сиди в темноте, ни на какие стуки, звонки не отвечай. Я буду тебе звонить так: три звонка, отбой, снова набираю и жду три звонка, снова отбой с третьего набора после трёх звонков бери трубку. А они пусть думают, что ты ушёл.

Короче, даёт команду переходить на нелегальное положение.

Кабинет дежурных цензоров располагался в Доме печати на первом этаже, окном во двор. Железная дверь, на окне решётка. Я свет выключил, закрылся... Сижу тихой мышью. Стук в дверь – молчу. Звонит телефон, но трезвонит без пауз – значит, не Шабаров – не беру. Слышу, голоса под окном, кто-то пытается подтянуться за решётку, заглянуть в кабинет... Потом принялись колотить в дверь:

– Открой, мы знаем, ты здесь!

Но я ни мур-мур. Время уже четыре часа ночи.

Вдруг пошли кодовые звонки... Трын-трын-трын, прекратились, трын-трын-трын, отбой... на девятый «трын» поднимаю трубку. В ней счастливый Шабаров:

– Дозвонился до Алма-Аты, до помощника Брежнева (потом мне сказал, что помощник был со сна и пьяный, может, и хорошо, что пьяный, так бы где-нибудь шарашился, не спал в номере), больше никого не мог найти.

Брежнева увезли куда-то на отдых. Помощник (может, он как раз и писал статью, не сам же Брежнев, он только читал

готовое) спросонья и спьяну сказал:

– Что у вас там? Заводы секретные? Ну, убирайте, что вам надо. Чё вы нас беспокоите? Положено по инструкции, значит, убирайте. Ничего сами решить не в состоянии!

Какая тяжесть упала с моих плеч. Кто бы только знал. Просто крылья за спиной орлиные выросли. Тогда ещё строгий выговор с меня не сняли, а тут корячилось похуже выговорёшника в случае прокола. Камень стопудовый свалился с души. Я встал и с таким удовольствием включил свет, с такой радостью распахнул дверь... Мои мучители стояли разъярённой толпой на лестнице и решали меж собой: что делать? Где искать меня, где Шабарова? И вообще – дальше ждать некуда, надо печатать... Но боязно без нас...

Я выхожу в коридор и громко с пафосом обращаюсь к газетчикам, почти как с трибуны:

– Товарищи, мы сейчас разговаривали с Леонидом Ильичом, он разрешил исключить из речи все заводы, которые я просил убрать. Генеральный секретарь безоговорочно согласился: раз запрещено «Перечнем» и инструкциями, значит, в газете быть не должно.

Директор типографии засомневался:

– Вы что с самим Брежневым говорили?

Но спросил полушёпотом.

– А с кем ещё я мог обсуждать содержание статьи генерального секретаря? – вlepил ему под дых.

– А вы не врётё? – не мог он поверить факту моей личной

беседы с генеральным секретарём, для него – небожителем.

– Знаете что, дорогой товарищ, – сказал я с негодованием (сам того и гляди расхожусь), – я такими вещами не бросаюсь всеу!

Вся их ярость в мой адрес бесследно улетучилась. Без эмоций попросили ещё раз показать, что надо убрать. Я заодно с оборонными заводами пару цифр сомнительных зачеркнул... Все вычерки мои оперативно изъяли, принесли оттиск с исправлениями, я поставил свой штамп, расписался и пошёл домой. От их машины отказался, иду по городу, светает, от Иртыша ветерок тянет... Душа поёт, жить можно...

Обычно главный редактор «Омской правды» еле заметным кивком одаривал меня при встрече – кто он, и кто я, – после случая с Брежневым отвечал на моё приветствие полновесным полупоклоном. Как же, я могу позвонить на «небо» к самому генеральному секретарю и, неслыханная дерзость, добиться разрешения сделать купюры в его эпохальной речи. Ответсек Георгий Петрович уже не так рьяно корил за «песок» в буксы их локомотива. Раньше вся верхушка «Омской правды» свысока относились ко мне: ну что эта цензура может, путается под ногами... Когда я в речи генсека понаделал больше десятка вычерков, стали думать по-иному... Правкой Брежнева, кстати, их самих спас от жуткого скандала...

Газета с материалами совещания ушла в Москву в Главлит, но никто никаких претензий не предъявлял. Шабаров

на следующий день после инцидента заставил меня написать объяснительную, можно сказать, телегу на газетчиков: вели себя крайне агрессивно, заставляли печатать речь Брежнева с недопустимыми ошибками. Объяснительная была нужна на всякий случай. Ходу ей не дал, но если бы газетчики завозникали, козырь этот выплыл бы обязательно...

Магический штамп

Ходила в Обллит особая категория – гении. Гениальные изобретатели, гениальные непризнанные поэты. Приносили безумные проекты, переворачивающие мироздание, Ньютона, Эйнштейна. Помню, первый раз столкнулся, и не могу понять, что он от меня хочет.

– Вы поставьте печать свою, – напирает.

Нередко их к нам подсылали журналисты. Про наше управление гении откуда могли знать. Газетчики, страшно любящие нас, давали наводку. Придёт к ним такой изобретатель, они ему: это слишком серьёзно, мы не можем прямо так публиковать, это государственное дело, надо Обллит пройти, а вот когда придёте к нам с резолюцией цензуры, с её печатью мы с большим удовольствием. Как-то поэт к нам заявился и первым делом справку мне протягивает, что он нормальный. Что можно подумать о человеке, который в качестве визитной карточки суёт тебе под нос документ, что он не сумасшедший.

Был экземпляр, который мне рассказывал, как выручал рукопись. Отправил в Москву в Литературный институт стихи, целую пачку полуметровой толщины. Гордо делился примером своей работоспособности:

– Я ночью сажусь за печатную машинку и печатаю, печатаю стихи. Сразу набело!

Москва стихи не оценила и отказалась обратно высылать. Что делать? Денег у поэта нет, гонорары, премии ещё не повалили в карманы. Тогда он двинул в столицу, воруящую его поэзию, электричками. О методе воздействия на контролёров рассказывал так:

– Сажусь в вагон и делаю на лице маску дебила, посмотрят и билет не требуют.

Честно говоря, ему особо играть и не надо было...

Попадались закалённые графоманы. Тёртые калачи. За плечами имели огромный опыт общения с прессой и госучреждениями. Прошли не по одному кругу редакции газет, журналов, Союз писателей, некоторые до обкома партии доходили. Где-то их отфутболивали интеллигентно; где-то советовали читать классиков; где-то напрямую резали матку-правду в глаза: займитесь общественно-полезным делом, не теряйте время попусту, и гнали за назойливость взашей. Но они-то во всём этом видели одно: махровую зависть. И укреплялись в мысли, становились одержимы ею: их нетленные произведения могут запросто украсть те, кто не пускает их к широкому читателю, кто всячески отпихивает от страниц газет и журналов. А почему отпихивает? Чтобы не делиться гонораром. Стоит зенуть – скрадут творения, и тогда пиши пропало... Но если поставить на рукопись штамп Обллита, тогда авторские права удастся застолбить навеки.

– Нет, ну вы поставьте свою печать! – умоляет такой поэт, писатель или изобретатель.

И тайно верит: печать даст зелёный свет его гениальным произведениям. Ведь на ней что написано? Выгравировано «РАЗРЕШАЕТСЯ». Магическое слово, обещающее славу, признание, обожание поклонниц и материальные блага...

Бесполезно было что-то объяснять. Собственно, нам строго настрого запрещалось вдаваться с непосвящёнными в подробности наших правил. Говорили «нет» и всё. Отправлялись:

– Идите в газету, в издательство, в Союз писателей, они занимаются творческими людьми. Мы вам ничего поставить не можем.

Естественно, штамп могли использовать только для официальных изданий. Проверив газету, каждую страницу штамповал. На первой в штамп вписывал свой номер, расписывался, ставил число, на других страницах только расписывался в штампе.

К «Разрешается» от руки писал либо «к печати», либо «в свет». Рукопись, к примеру, диссертации подписывал сначала «к печати», а когда изготовят тираж, писал на контрольном экземпляре «в свет». Также книги, газеты... Это была жёсткая официальная система. Никаких частных лиц с листочками рукописей.

В управлении был кабинет для приёма посетителей, дверь открываешь, два шага делаешь и упираешься в барьер – поднимающаяся доска. Приём вели по очереди все редакторы. Сижу, вдруг заходит ражий мужчина. В коридоре перед ка-

бинетом стояла вешалка. Если кто на скорости проскакивал его, вваливался в верхней одежде, нетерпеливого заворачивали к вешалке. Сiju я однажды, вдруг распаивается дверь входит мужчина – высоченный, плечи шириной с коромысло, сам в полушубке, в руках длинная труба – бумажный рулон. Я подумал: чертёж. И не успел отправить посетителя в раздевалку, как визитёр доску барьера по-хозяйски поднял, прошёл к моему столу, поставил рулон на пол и одним движением плеч театрально отшвырнул полушубок на пол. Не сказать, что мне понравился пролог, в голове промелькнуло тревожное: что же будет дальше? А дальше мужчина поднимает трубу-рулон. Движения размашистые, порывистые... Сам в длинном красном свитере, в брюках без намёка на «стрелки», с пузырями на коленях, заправлены были в валенки... Рулон меня насторожил. Вдруг кочерга в бумагу завернута по мою бедную головушку? Сейчас достанет и айда крошить цензуру... Я на полном серьёзе приготовился, в случае чего, стул хватать в качестве ответного оружия. Он берёт за край рулон и делает резкое движение вверх-вниз. Рулон с шумом разворачивается, но не весь... Стукается об пол, и добрая его часть, свёрнутая в трубу, остаётся лежать на полу. Бумага исписана большими буквами. Посетитель принимает позу чтеца-глашатая, держит свиток на вытянутой руке, второй делает широкий жест и торжественно объявляет:

– Поэма о Сибири!

Полушубок на полу валяется, поэт в этом длинном красном, как у палача, свитере, в глазах блеск вдохновения... Я мгновенно делаю прогноз: чтение поэмы, даже такими большими буквами написанной, займёт часа полтора...

Потом сам себе аплодировал, как мгновенно опередил декламацию бессмертного произведения.

– Вы мне собираетесь стихи читать? – задаю риторический вопрос.

– Да, это мои стихи! – гордо говорит он.

– Вы понимаете, в чём дело, – со скорбью в голосе произношу я, – в природе так устроено, что есть люди, возможно, вы таких встречали, которые начисто лишены музыкального слуха. Им что симфония Моцарта, что свисток милицкий.

– Медведь на ухо наступил что ли? – с серьёзной физиономией спрашивает.

– Во-во, – говорю, – а у меня и медведь, и слон потоптались. Я категорически лишён поэтического слуха. Не понимаю ни рифм, ни всяких аллитераций. Я об этом, конечно, читал, но ничего не слышу. Вы мне сейчас будете декламировать и всё зря. Равнозначно, что вот этому столу читать.

Он с глубоким сочувствием посмотрел на меня и сказал:

– Какой вы несчастный человек.

– Что самое печальное, – поддержал я его вывод, – я даже не могу осознать степень своей ущербности, поскольку ничего не чувствую.

Он молча свернул свиток, взял полушубок, накинул его на плечи, как бурку, и гордо неся голову, вышел. Я перефутболил его к Екатерине Михайловне:

– Идите к ней, у неё отличный слух на поэзию.

К чудакам-мужчинам замша относилась, как сестра милосердия. Она сочувствовала тем, кто был контужен графоманством. Выслушивала слёзные жалобы – «гонят завистники», делала вид, что вникает в смысл гениальных творений. Но в конце концов тоже отшивала.

Но был такой Лазарев на мою голову. От него несколько лет не мог избавиться. Капитально запал на меня. Екатерина с первого раза бесповоротно наладила его за свой порог. Категорически не понравился. Маленький, кругленький, кудрявенький, было ему лет пятьдесят. Принялся меня доставать. Таскает пачками стихи и таскает. Я их не читал. Категорически. Достаточно было на самого поэта взглянуть, чтобы сделать вывод: ловить здесь нечего. Вид дурковатый, интеллекта ни в глазах, ни во внешнем виде. Отделаюсь от него, через неделю-другую снова тащит.

– Вы знаете, у меня смотрели и сказали, нужна печать Обллита. Вы понимаете: украдут ведь, украдут, уже похищали отдельные строки. Оставил рукопись в газете, они не отдают обратно, нагло врут «затерялась», вот дубликат – поставьте печать.

В конце концов я его почти выгнал:

– Покиньте кабинет, не мешайте рабочему процессу.

Он начал подлавливать меня в неформальной обстановке. В доме, где находилось наше управление, была очень крутая лестница. Здание старое, высота потолков до пяти метров, а на лестницу места пожалели, получилась опасная крутизна. И вечно темно на ней. Лампочки не держались, быстро перегорали. Здание сырое, проводка старая. Лазарев за полчаса до окончания рабочего дня приходил и ждал на лестничной площадке. Кто-нибудь из наших предупредит:

– Твой уже в засаде.

Не хватало на графомана личное время тратить. Одеваясь, осторожно выхожу в коридор, перед дверью на площадку (он за ней стоит) глаза зажмурю, чтобы привыкли к темноте, постою, потом резко дверь открываю и лавиной по лестнице... Каждый раз в голове: только бы ноги не переломать.

Летом в обеденный перерыв я умудрялся позагорать. Управление рядом с Куйбышевским пляжем. Как обед, я туда. Пару бутербродов проглочу, и с полчаса нежусь на солнце. Лазарев жил где-то рядом с набережной и частенько ошивался на пляже. Как-то стою, батюшки свет, прёт на меня... И давай окучивать:

– Вот я новые вещи создал, посмотрите.

Бумажки суёт. Сам в плавках. Фигурка в одежде комичная, без оной подавно... Весь волосатый: впуклая грудь, узенькие плечики, пузико, кривые ножки – весь шерстью покрыт... Поначалу я не знал, как вести себя в этой ситуации. Народ с любопытством на нас уставится. Он громко всегда

вещал о своей поэзии. Первое время я быстро одевался, односторонне что-нибудь говорил, типа «да», «нет» и уходил...

На пляже он, собака серая, любил подсаживаться к молоденьким девчонкам и начинал им втирать, что он актёр больших и малых театров. Что у него известная фамилия, но он её не скажет... Хвост распушит... Видимо, кроме поэзии был сексуально озабочен. Девчонки хихикают... Но если я вдруг попаду в поле его зрения, девчонок бросает и начинает грузить меня, в тысячный раз выспрашивать, как продвинуть его стихи. Однажды достал, и я ему официальным тоном заявил:

– Гражданин, прекратите, пожалуйста! Я такие серьёзные вопросы в обнажённом виде не решаю. Приходите в управление в приёмные часы. Здесь попрошу меня больше не беспокоить!

Он отстал. Но часто крутился на пляже рядом. Потом надолго исчез из поля зрения...

Прошло много лет, я уже юристом в газете работал, с Партизанской на Ленина поворачиваю, кто-то хватя сбоку за рукав... Что за манеры? Поворачиваю голову – Лазарев... Я его сразу не узнал, постарел, поседел... Он без всяких «здрасьте» в лицо мне тычет листочками... С прежним, даже большим фанатизмом в очах... Я опешил, а он кричит:

– Вот, смотрите, меня опубликовали! Вы меня столько лет не пускали, держали!

Я ему тихо, спокойно:

– Очень рад, что вас опубликовали. Вы ведь знаете, какие были времена, мы все подчинялись.

Одной рукой он в меня насмерть вцепился, другой трясёт своими листочками и орёт на всю улицу:

– Я признан одним из лучших поэтов России сегодняшнего дня! Нас всего несколько человек, несколько поэтов за всю историю российской поэзии, которые смогли выразить эпоху! Я отразил эпоху!

Меня совесть кольнула: «Боже мой, вдруг на самом деле. Я ведь ни разу его не читал. Что у него там написано? Может, он гениальный чудак?» Лазарев кричит:

– Читайте, читайте.

И суёт листочки. Беру, смотрю... На принтере отпечатанные стихи. Я сосредоточился, начал читать... А он продолжает орать на всю улицу:

– Вы читайте-читайте! Вы меня не пускали, а я отразил эпоху...

Читаю, стихи о партии, о комсомоле... Уже ни партии, ни комсомола нет... Говорю:

– Это ваши старые стихи?

Он с широким жестом эстрадных поэтов и чтецов – голова гордо поднята, рука воздета к небу – поясняет:

– Тут вещи разных лет! Вы читайте, читайте!

Ещё читаю. Срифмовано более-менее. Но совершенно дубовые стихи. Так писали уракоммунистические поэты в пятидесятых, шестидесятых годах. В семидесятых подоб-

ное встречалось реже. Обычные серые, совершенно деревянные стихи. Ничего нового, индивидуального, одни казённые, трескучие фразы. Поэзии никакой. Хотя, надо сказать, гораздо хуже встречал в газетах, особенно в многотиражках, иной раз почти карикатурные. Говорю Лазареву, чтоб отстал:

– Замечательные стихи.

Сам думаю: «Почему его не печатали тогда? По крайней мере, в местной прессе?» А он орёт:

– Я лучший поэт эпохи!

Народ останавливается, с любопытством смотрит на наш дуэт, прислушивается. Мне стало не по себе от дурацкого положения, в котором оказался: центр города, я посреди улицы вынужден объясняться с графоманом. Головой киваю, соглашаюсь с ним. Возможно оттого, что я не спорил, он вдруг резко потерял ко мне интерес, схватил из моих рук листочки и побежал дальше «отражать эпоху».

Воспевание патриархальности

Этот эпизод с поэзией вспоминаю с некоторой досадой на себя. Подпортил мужику личную жизнь. Был редактор многотиражки, назовём его Иванов. Маленького роста, крепкий, голова арбузиком, румяные пухлые щёки. Моего возраста, амбиций на двоих с довеском. Ходил с «дипломатом». Всегда ловко открывал его. Положит на стол или стул, как иллюзионист-фокусник, руки поднесёт, и, будто по волшебству, синхронно щёлкнут золотистые замки, крышка откинется. Отношения наши с Ивановым не переходили границу официальности. В его жестах, интонациях проскальзывало: да брось ты кино гнать, занимаетесь всякой ерундой с умным видом. По большому счёту был прав. Но и его газета недалеко ушла от «ерунды». Многотиражки все отличались скукотой, перегруженностью штампами, идеологической зашоренностью, но в хороших проскальзывали живые материалы. Газета Иванова была беспросветно серой. Гнали строчки литсотрудники лишь бы полосы забить. Ещё одна особенность, через номер да в каждом печатали стихи поэтессы из серии «творчество наших читателей». Стихи никудышные, откровенно слабые... И русский язык поэт чувствовал со сбоями, мог выдать: «плотницкое рукоделие», «повисшая угроза», «раздавалась громкость петухов». Тем не менее стихи помещались количеством не одно, два на последней стра-

нице в дальнем углу. Могли запросто под поэтессу полполо-
сы отдать, да и сольную «Литературную страницу» на всю
полосу забабашить.

Я как-то возьми и скажи Иванову:

– Вы меня, конечно, извините, но я, как человек в некото-
рой степени знакомый с поэзией, с детства много её слышал,
читал, мама актриса, не могу не выразить своё мнение: сти-
хи, что вы в таких объёмах печатаете, качественными никак
не назовёшь...

Он перебил ледяным тоном:

– Извините великодушно, но этот предмет не входит в
сферу компетенции вашего ведомства. Идеологические пре-
тензии к нашей поэзии у вас есть?

Ах ты, собака серая. Прекрасно знал: тут не подкопаешь-
ся.

– Нет, – говорю, – только эстетические.

Он посмотрел на меня с видом:

– Ну, и заткнитесь тогда!

Проглотил я его немую реплику и многозначительный
взгляд, но запомнил. Задел меня за живое, скажу честно,
очень задел.

Бабские стихи продолжали появляться в газете, поэтесса
была плодовитой. Однажды вместо Иванова его заместитель
Миша Букин принёс газету на подпись. Миша был с вечно
шмыгающим носом и непременным запашком. Вежливо ка-
ялся:

– Извините, я тут пивком жажду утолил.

Гасил сухость не только «пивком». Принадлежал к категории журналистов, что кочевали из одной газеты в другую. Залетит в одной после «пивка», помается месяц-другой без работы, глядишь, вынырнет в другой многотиражке. На его счастье, на нашу беду (сколько читать-подписывать) было их в городе более тридцати штук.

– Миша, – спрашиваю, – а с чего это вы стихками стали пробавляться, прямо литературное издание. Да ладно бы терпимые давали, а то бездарными душиите бедного читателя?

– Поэзии, согласен с вами, в этих, с позволения сказать, вещах не много ночевало, – Миша имел грешок говорить выспреннее, – зато автор не баран чиханул – любовница Иванова. Подозреваю, тут как у Куприна...

Он имел в виду историю, имевшую место с Александром Ивановичем Куприным во время написания «Поединка». На тот творческий момент у писателя была дама сердца, она поставила условие: пускала Куприна к себе лишь в том случае, если писатель на свидание новую главу повести приносил. Стимулировала творческий процесс женскими чарами. Думала не только о себе, но и об отечественной литературе. Писатель, охваченный пылким чувством, бывало, прибегал к хитрости. Музе не прикажешь, вдруг застопорилась повесть, ни тпру, ни ну. Даже такой мощный стимул, такой гонорар, как перспектива общения с любимой женщиной не помога-

ет: не пишется, хоть плачь. И нет возможности почерпнуть вдохновение от предмета страсти – путь к нему закрыт. Заколдованный круг. И тогда пускался Куприн во все тяжкие – шёл на подлог. Заявится к даме, она приоткроет дверь на маленькую щелочку – только-только рукопись просунуть, Куприн в качестве пропуска в щель листки толкнёт. Дама примет сей жест за чистую монету, распахнёт дверь перед Александром Ивановичем, впустит с радостью писателя в свои апартаменты, сама быстрее читать, интересно ведь, что там дальше с героями произошло? А ничегошеньки нового. Куприн подsunул старую главу. И смеётся, попробуй его теперь выдвори...

– Поэтеска, – хихикая, рассказывал Миша, – нашего Иванова к себе не подпускает, пока не опубликует её нетленку. Шеф мужчина горячий, просто неудержимый, ему поэтического тела много надо, вот и печатает стихи километрами... А и мы, сказать честно, без утайки, не в накладе от горячей любви к поэзии шефа – нам меньше строчек гнать. Поэтому в один голос поём на планёрках: замечательные стихи.

Понятно, почему Иванов окрысился, когда я вякнул про некачественную поэзию...

Однажды, читая газету Иванова, я увидел стихотворение «Про лошадей» и зацепился за строчку: «Пожалуйста, любите лошадей, любите так, как любите Россию». И, каюсь, разыграла во мне от этой «любви к лошадям» неопишуемая радость: вот тут-то я фонтан поэтический заткну и нашу ком-

петенцию продемонстрирую.

Как я уже говорил: у Шабарова было два конька, которые он вынес из той поры, когда работал первым секретарём райкома партии. Красные идеологические тряпки, при виде которых он вставал в бойцовскую позу, были следующие: воспевание патриархальщины, а значит отрицание прогресса в сельском хозяйстве, а второе – космополитизм.

Прочитав про лошадь, я позвонил:

– Михаил Ильич, тут стихи мне попались. Нужен ваш совет. На мой взгляд, понимаете, что-то здесь не наше чувствуется. Поэт, понимаете, с завидным пафосом восторгается, лошадью. И читается между строк, что делает это в пику трактору, механизации.

Вдохновенно несу эту околесицу:

– Понимаете, опять на старой лошадке дореволюционной поедем... И тут могут возникнуть всякие ассоциации... Мы, может, зря с трактором связались, так сказать... Ни к чему это, понимаете, надо было и дальше трястись на лошадке, раз она такая расчудесная... И ещё патриотизм очень странно выражается в этих стихах. Любите, понимаете, лошадей, любите так, как любите Россию. В одном ряду Россия и лошадь. Мне почему-то Достоевский вспоминается с его загнанной лошадью, которая надорвалась...

Шабаров насторожился:

– Да-да-да я чувствую, здесь есть воспевание патриархальщины. Ну-ка, ну-ка продиктуйте мне эти строки, я запишу.

Я продиктовал, он записал и дал распоряжение:

– Отложите газету, ждите моего звонка, ничего не принимайте без меня.

Вывел я его на формулу «воспевание патриархальщины». Через час он звонит и уже на «ты»:

– Значит так, газету с этими стихами не подписывай. Ни в коем случае. Если редактор заартачится, будет гнуть своё, отправляй прямиком в обком в отдел идеологии, там ему всё доходчиво разъяснят.

Шабаров ухватился за «лошадку» ещё почему? Был повод позвонить в обком и поговорить по-свойски с его хорошим знакомым Чердынцевым. Дочь Чердынцева – Раиса – у нас работала. Позже расскажу о ней, штучка была ещё та. Шабарову на примере «лошади» была возможность лишний раз показать, что мы тут тоже не просто так сидим, не штаны протираем, а работаем, идеологические устои блюдём. Вот, пожалуйста, поймали столь пагубное воспевание патриархальщины. Сравнил бы поэт Россию с трактором «Кировец», с ракетой – другое дело, а то с лошадкой допотопной. Внутренне я забавлялся и удивлялся сам себе, какой я интриган, как точно просчитал и выстроил ситуацию.

– Составляй вычерк, – командует мне Шабаров, – всё, как положено, делай, это мы как идеологическую ошибку посчитаем. Редактор будет иметь партийное взыскание.

Такой поворот событий задел остатки моей совести: неужели так сильно Иванова подвёл. Стихи, по большому

счёту, невинные в плане идеологи, ничего там криминального нет. Ну, глуповатые, ну, слабые... И успокоил себя: не будет ему ничего серьёзного, не те времена да и не тот случай, ну, стукнут кулаком по столу, прочитают нравоучения... Зато, может, подумает в следующий раз: печатать всякую серость или нет.

– Газету подписывай только в том случае, если все эти стихи уберёт! – дал последнее указание Шабаров. – И никак не иначе. Всё, работай!

Я понял, с Чердынцевым он согласовал свои действия по поводу такого страшного идеологического просчёта, как «воспевания патриархальщины» в советской печати.

Только мы закончили разговор с Шабаровым, заходит своей бодрой походкой Иванов:

– Подписали?

Я в газету пальцем показываю:

– Стихи надо убрать!

Он на дыбы:

– Это ещё с какой стати?! Почему я их должен убирать? Ничего убирать не собираюсь!

– Хорошо, – говорю спокойным тоном, – берите свою газету и езжайте в идеологический отдел обкома КПСС. Вас там ждут.

Он как услышал «обком КПСС, ждут» с лица спал, спросил растерянно, без обычной энергии в голосе:

– Зачем?

Я встаю со стула, давая понять, что наш разговор окончен:

– Вы знаете, я не уполномочен с вами разговаривать по этому поводу, это не входит в сферу моей компетенции. Езжайте, вам там всё объяснят.

Он взял газету, неровной походкой вышел...

Прибежал, когда я уже собирался уходить. Без прежней цирковой лихости открыл дипломат, подал газету... Ни одного стихотворения, ни про лошадь, ни про что другое не было. Вместо стихов стояли ТАССовские материалы. Тут он молодец, не сорвал газету, выкрутился, успел дыры, образовавшиеся после изъятия поэзии, забить.

Не знаю, как у него дальше с любовницей отношения складывались, но как отрезало, больше ни одного стихотворения своей пассии не опубликовал. Освободил я его читателей от поэтической муки и мути...

Райка-шпионка

Упомянутая чуть ранее Раиса Чердынцева занимала в управлении особое положение. Ничего тут не попишешь и не вякнешь: её папа был не сбоку припёку – заместитель заведующего идеологическим отделом обкома КПСС. Наш непосредственный начальник. Пусть по положению нашего учреждения никакого соподчинения Обллита обкому не было, формально мы были при облисполкоме, на самом деле напрямую нами Москва командовала. Да мало что по положению – все учреждения на местах подчинялись обкому партии. Не обойдёшь эту высоту. И мы, естественно, тоже.

Раиса окончила иняз пединститута. Французенка по специализации. Но, похоже, знала язык так себе. Иногда пела французские песни на наших гуляках, читала стихи Франсуа Виньона в подлиннике. Английский я, пожалуй, лучше знал, чем она. Бабёнка по жизни разбитная. В девках тоже, судя по характеру, не паинькой вела себя. В институте, как я слышал, училась через пятое на десятое.

– Чё бы я на этих debilбоев нервы тратила, – отвечала на мой вопрос: почему в школу работать не пошла.

Папа избавил Раису от «debilбоев» (а «debilбоев» от такого учителя), определил к нам.

Раиса практически безвылазно работала на радио. Самый необременительный по трудозатратам фронт деятельности

цензора. Чердынцева хвасталась:

– Я работаю как при коммунизме». И ей было наплевать, что мы-то пашем не как при коммунизме.

Все остальные редакторы меняли участки. Участок газет был: «Омская правда», «Вечёрка», молодёжная газета, многотиражки. Кто был на «Омской правде», тот параллельно читал молодёжку. Кто читал «Вечёрку», тот ещё и читал все многотиражки. Редактор, очередь которого подошла сидеть в управлении на приёме, в частности, занимался мелочёвкой: театральные программки, постановление партийного органа, план выставки, абонемент театра и т.д. и т.п. – двух строк нельзя было тиражировать без благословения цензуры. Он мог сразу подписывать «мелочёвку» «в печать» или «в свет». Но главное его занятие – просматривать издаваемую в области печатную продукцию и распределять по редакторам – кому что проверять. Диссертации разного рода, брошюры, книги из издательства... Очередную пачку всего этого нам доставят, дежурный раскладывает по столам редакторов... У редакторов по очереди была так называемая проверочная неделя, когда делали проверки, одновременно читали эту самую литературу. В первой половине дня проверки, во второй – чтение литературы. Мы нередко лукавили, брали целый день на проверку, но быстренько за пару-тройку часов проводишь её и свободен как птица, не возвращаешься в управление.

Огромное количество макулатуры перерабатывали каж-

дый день. Кроме всего прочего, за каждым редактором закреплялся отдельный участок. Скажем, все ходили с проверками в библиотеки, но один редактор был главным по этому направлению. Я отвечал за музеи и выставки. Смотрел и разрешал все выставки: художников, фотографов, детских рисунков, народных ремёсел, новые экспозиции в музеях... Лет семь был на музеях и выставках. По диссертациям в моём ведении были классический университет, ветеринарный институт, сельхозинститут и автодорожный. А ещё наша цензура накрывала своим недремлющим взором все районы области (за мной было закреплено три района), куда мы с чёткой регулярностью обрушивались с проверками и шуровали типографии, редакции газет, библиотеки. На районные газеты, ввиду их удалённости от нашего ведомства, не распространялся предварительный контроль, мы читали их после выхода в свет последующим контролем.

Страшно интересно было читать диссертации ветеринарного института. Скажем, про цепней, что паразитировали в желудках животных. С души воротило от таких текстов. Зато сердце пело от диссертации математиков. Прочитал преамбулу, всенепременно идеями марксизма-ленинизма нашпигованную. Вступления такого рода имели место хоть в исторической научной работе, хоть про свиных цепней, хоть про алгебру. Но у математиков всего-то текста – преамбула с марксизмом-ленинизмом, заключение с тем же идеологическим восторгом, а основная часть – формулы. Запретных

формул в нашем «Перечне» не было, я преамбулу и заключение читаю, остальное пролистываю и штампуя. Ненавидел общественные темы. Диссертаций по ним приходило много. Сразу вспоминал Васька-Трубачка и дебилизм его предмета. Шабаров требовал особого внимания к таким диссертациям, чтобы крамола не пролезла, не случилось «воспевания патриархальщины» или «космополитизма». Этого мне не попадалось, зато словоблудия, идиотизма в таких работах встречалось предостаточно.

Были и плюсы в проверочной работе. Нам выдавали талоны на все зрелища, что проходили в городе. Якобы осуществлять последующий контроль, вплоть до кино. Кино потом отменили, а в театры и на все зрелища до закрытия Обллита талоны давали. Я ходил не с целью контроля, с целью интеллектуального развлечения. Жену приучил, по сей день ходит и меня норовит затащить. Раз в неделю театр обязательно посещали. Само собой, когда знаменитость приезжала, начальство безапелляционно накладывало лапу на талоны, само ходило или родственников облагодетельствовало, хотя по инструкции родственникам не полагалось передавать талоны – формально это не развлечение, а направление цензорской работы.

В связи с этим случались забавные эпизоды. Однажды звонок Шабарову:

– Вчера ваши работники возмутительно вели себя в драмтеатре, устроили дебош в буфете!

Михаил Ильич едва с кресла не сверзился:

– Кто? Что?

Через секунду пришёл в себя:

– Нет, вы ошиблись, вчера, не наш день был.

Очерёдность устанавливалась следующая: один день в неделю наш, другой за КГБ.

– Нет, ваш! – твёрдо говорят на другом конце провода.

Шабаров позже сознался, что грешным делом на меня подумал. Знал, я часто хожу. Перепуганный вызвал Екатерину Михайловну, та талонами распоряжалась. И отлегло от души, Екатерина по устной договорённости поменяла на ту неделю день с КГБ. Офицеры или их родственники накушались, устроили дебош в знаменитом театральном буфете, разбили несколько бокалов. Отметились на премьере. Мы то вели себя скромно.

Раиса Чердынцева не занималась ни газетами, ни диссертациями, она безвылазно сидела на радио. Приходила утром в управление, поторчит на совещании, послушает токование Екатерины Михайловны, узнает последние новости, после совещания мы расходились по участкам, она помается в управлении с часок, посплетничает и «до свидания». На радио появлялась после обеда, часам к двум. Когда Раиса уходила в отпуск или болела, желающих заменить её на радио было предостаточно, только скажи. Читать там особо не приходилось. Принесут дикторских текстов листков пять-десять... На радио за нами был закреплён громаднейший ка-

бинет, длинный, как кишка. В одном его конце дверь, в другом у окна стол. Между этими рубежами пролегла красная ковровая дорожка, добавляющая мрачные тона помещению. Заходит посетитель, а ты восседаешь за столом, как большой начальник. Кабинет, особенно во второй половине дня, тёмный, сидишь и шуришься, что там за букашка пришла? Она издалека начинает движение к тебе... Идёт-идёт, идёт-идёт... В кабинете стоял грандиозный сейф. Просто безразмерный железный шкаф.

Конечно, с разрешения Шабарова Раиса окопалась на радио. Папа Раисы намекнул, Шабаров сделал «под козырёк». До меня Чердынцева года два держала оборону на радио и при мне лет восемь.

Кроме радио, Раиса также курировала телевидение. Всё рядом, через дорогу. На телевидении, можно сказать, самая ответственная работа в году – две демонстрации: 1 Мая и 7 Ноября. Дикторский текст репортажа с демонстрации чуть не за месяц до всенародного события писался, до последней буквы выверялся. Майская и ноябрьская демонстрации – самая загрузочная работа была для нас на телевидении...

Короче, Раиса не перетруждалась, наши тётки завидовали этой лафе...

– Вот же мокрохвостка, – сквозь зубы говорила Нежная, – покрутит задом и на радио, а ты сатаней над газетами да дурацкими диссертациями.

Народ на радио и телевидении подобрался молодой. Раиса

человек компанейский, пришлась ко двору, влилась в коллектив... Квасила с ними... Что там говорить, как при коммунизме работала. Была она не без самоиронии, могла выдать:

– Да! Я – плохая дочь, плохая жена, плохая мать, но для себя-то я хорошая! Я себя люблю очень!

Была ещё одна отличительная особенность у Раисы: каждый отпуск проводила не где-нибудь на Черноморском или Балтийском побережье – Раиса совершала вояжи за границу. И не в отдельные страны, каталась в дорогостоящие круизы. По Средиземному морю с заходом в Грецию, Италию и Испанию с Португалией. По Скандинавии... Или по центральной Европе проедется: Франция, Германия, Бельгия. То на Кубу слетает. В крайнем случае – отправится в Польшу, Югославию, Венгрию. Как отпуск – она за рубеж. Конечно, папа в обкоме, не наш уровень зарплаты, и всё же... Такие поездки стоили приличных денег. Круиз мог обойтись в тысячи полторы, это треть автомобиля. А она получала сто сорок, ну, сто шестьдесят рублей. Было удивление и подозрение, странно как-то. На одной из наших вечеринок Раиса проболталась.

Ни один праздник мы не пропускали без отмечания. Шабаров редко когда принимал полноценное застольное участие, но не препятствовал. Его замша, Екатерина Михайловна, любила устраивать корпоративные застолья... Если мы не шли в ресторан или к кому-нибудь домой, накрывали сто-

лы прямо в управлении. После работы двери на замок и дым коромыслом. Шабаров посидит с нами полчасика, пару рюмашек намахнёт, скажет на прощание свою коронную шутку:

– Так, товарищи, чтобы никаких демонстраций с матерными частушками по улице Ленина.

И уйдёт. Демонстраций мы не устраивали ни с матерными, ни с идеологически выдержанными частушками, но гуляли от души. Место было тихое, лишних людей на этаже не водилось.

Раиса в подпитии обязательно в какой-то момент «захватывала микрофон». Или французскую песню затянет своим не очень музыкальным голосом, курение не на пользу шло. Или что-то начинала рассказывать. В тот раз она только-только вернулась из Скандинавии. Побывала в Копенгагене, Стокгольме, Хельсинки, Осло... Начала делиться восторгами от заграничной экзотики, а потом вдруг ляпнула, вихляя задницей:

– А вы, думаете, я там так просто была? Я выполняла ответственное поручение.

Подпитая уже прилично, и все мы к тому времени хорошо загрузились. Думаю, какое эта свиристелка могла поручение выполнять?

– Какое такое поручение? – спрашиваю.

Она аж подпрыгнула, так распирало поделиться сокровенным.

– Захожу в парк, не буду говорить, в какой это было стра-

не, не имеет значения – отсчитываю на одной аллее пятую лавочку, сажусь, нащупываю третью плашечку, в ней снизу такая маленькая дырочка, а у меня в руке такая маленькая штучка, такой пистончик. Я его в дырочку раз и сунула. Посидела пять минуток, встала и пошла как ни в чём ни бывало.

Шабаров к тому моменту отвалил домой, Екатерина Михайловна поначалу не врубилась, что Раиса выдаёт гостайну. А когда сигнал бедствия вспыхнул в голове, затуманенной винными парами, через стол прыгнула, захлопнула шпионке ладонью болтливый рот и зашептала:

– Молчи, дура!

А нам всё также шёпотом:

– Вы ничего не слышали! Она нализалась, несёт всякую чушь!

Мы подозревали, что у нас есть прослушка. По крайней мере, в комнате спецчасти. Рядом со спецчастью находилась комната редакторов. И было подозрение стол в спецчасти и столы редакторов были связаны. Стоило постучать по какому-нибудь нашему, в столе спецчасти отдавалось – бум-бум-бум. Мы иногда дурачились, постукивая по своим столам. Не исключено – в розетках тоже стояли микрофоны. Наши бабёнки в подпитии кричали в розетки:

– Я живу хорошо, я всем довольна!

Короче, Раиса проболталась о своей тайной деятельности. Но без последствий. На следующий год как ни в чём ни бывало покатила в Англию. Как такой обалдуйке могли доверить

закладку тайника? Неужели толковее агентов не нашлось? Или из соображений: засыпется – не жалко? Наличие «ответственных поручений» объясняет ежегодные дорогостоящие поездки. За государственный счёт моталась. И не только в деньгах дело. В Советском Союзе поставлено было так, что просто не проскочишь: запоносилось тебе за рубеж – плати за путёвку и дуй. Сначала решала пускать, не пускать родная парторганизация, потом райком, тот запрашивал мнение УВД, КГБ. Тем более, если собрался в капстрану. К идеологическому противнику в пасть простых смертных каждый год не пускали. У подружки жены муж зубной техник. Поехал во Францию, его так обшмонали на границе. Проковыряли весь тюбик с зубной пастой, кремом для бритья. Перемяли всю одежду. Думали, раз зубной техник, обязательно золотишко контрабандой пытается протащить. А Раиса ездила запросто.

С мужем она то сходилась, то расходилась. Могла по пьяне со мной запросто поделиться интимными подробностями:

– Мы с ним только познакомились, сели в парке рядышком, а он сразу за титьку хватать. Не поцеловал, не погладил, сразу щупать.

Наши бабёнки злословили: Раиса не больно блюла честь мужа, расслабляясь с радио и тележурналистами.

Кончилась её карьера цензора тем, что она стала поддавать.

Пик пагубной страсти пришёлся на ветры горбачёвских

перемен, которые не просто коснулись папы Раисы, сквозняком выдуло его из обкома. Отправили Чердынцева на пенсию, как замшелого представителя застойных времён, как отжившего своё идеологического кадра. По инерции Раиса не поняла, что лафа её кончается, свободная жизнь ушла в прошлое и уже не будет так, как раньше, когда всё сходило с рук: опоздания на работу, срыв сроков сдачи отчётов, другие нарушения. Стал расширяться диапазон обязанностей, кроме радио стали её на газеты бросать. Коммунизм кончился. Раиса этого не заметила.

Как-то в девять вечера мне звонит домой Шабаров:

– Срочно приезжай в управление!

Пытаюсь что-то выяснить, не объясняет:

– Приезжай!

Приезжаю. Оказывается, номер «Омской правды» под угрозой срыва. Подписывали её вечером. Раиса приехала в таком состоянии, что одну полосу с трудом подписала, а дальше не только что не могла вникнуть в смысл текста, уже не отличала газету от стола, на котором та лежала. Кореша на радио её покрывали, газетчики со злорадством позвонили Шабарову и доложили о неменяемом состоянии цензора и, что самое страшное, срыве газеты.

Мы взяли в управлении мой штамп и я поехал в «Омскую правду».

– Перечитай и ту полосу, что она прочитала, – наказал Шабаров.

Ничего серьёзного в газете не было, я быстро её прочитал, полосы проштамповал. Закрыли вопрос.

На следующее утро в управлении все дела по боку, Екатерина Михайловна, объявляет партсобрание. И как навалились всем гамбузом на Раису, как начали все подряд клеймить её. Неорганизованная, так и не научилась работать, дурака валяет, панибратство с журналистами ведёт, постоянно с ними застольничает, тем самым дискредитирует нашу службу... Я уже говорил: нам запрещалось водить дружбу с пишущей братией. Это оговаривалось при приёме на работу. Распекали Раису со всех сторон. Замаячило увольнение по статье. Я встал и сказал:

– Вы знаете, давайте часть вины на себя возьмём, пока Чердынцев был начальником, мы молчали. Пошепчемся между собой и на этом ша. Что мы сами трезвенники? Тоже не проносим мимо рта. Раиса Александровна, безусловно, виновата, наверное, ей здесь трудно будет работать, но увольняться ей надо по своей воле, а не гнать её как злого нарушителя дисциплины.

Нежная поначалу вместе со всеми поливала Раису после моей речи, попросила слова и поддержала меня:

– Раиса Александровна наш товарищ, нехорошо будет испортить ей трудовую книжку.

Народ у нас был не злой.

С Раисой мы, бывает, перебрасываемся по электронной почте. Она меня разыскала и прислала весточку. Уволив-

шись из Обллита, Раиса уехала в Адлер и устроилась поварихой на туристический теплоход, что ходил по Чёрному морю. Дочь Раисы окончила университет с красным дипломом, не в маму пошла по учёбе, и вышла замуж за американского адвоката, уехала в Калифорнию. Раиса стала четырежды бабушкой и раз в год месяцев на пять ездит в США. Американцы, поди, и не знают, что бывшей разведчице визу дают...

Сверхсекретка

Каждый месяц нам, цензорам, выдавался план проверок библиотек, типографий, организаций, эксплуатирующих множительную технику. Последняя стояла на строгом учёте. Работа типографий, использование множительной техники подпадали под «Единые правила печатания несекретных изданий». Документ имел гриф ДСП и строжайшим порядком регламентировал учёт любой печатной продукции. Всё было зарегулировано, строчки не тиснешь... Однако народ у нас любопытный, ему всегда надо то, что в дефиците. Поэтому множительную технику эксплуатировали на бытовые нужды. Кому стихи отпечатать, кому анекдоты, кому эротические рассказы. Антисоветчины в нашем городе ни разу не застукивали, другое шло: гимнастика йогов, рецепты, гороскопы, Кама-сутра... Это ещё не проникло в открытую печать, а народу хочется запретного плода... Была возможность подхалтурить тем, кто работал с множительными аппаратами, в основном – ротаторами... Но вся эта техника, до единой штуки, стояла на строгом учёте. Снял копию с бумажки, сделай запись в специальную книгу о проделанной работе, распишись. Были организации, где не проскочишь – множительная техника стояла за железной дверью, в специальной, опечатываемой комнате, начальник сам строго следил за эксплуатацией техники. Где-то был полнейший бар-

дак... В том числе и за железными дверями...

Прихожу в проектный институт на плановую проверку, деликатно стучу в дверь, за которой комната с ротатором – никакой реакции. Тарабаню что есть силы – тишина. Куда ты, собака серая, запропастился? Я ведь сделал предварительно звонок, мне сказали днём всегда на месте ответственный. Второй раз прихожу, снова в разгар рабочего времени, и снова нет доступа к ротатору. Месяц заканчивается, надо отчёт писать о проверке, у меня пробел. Хорошо (добрые люди везде есть), донесли-шепнули: парнишка, в ведении которого множительный аппарат, как завидит меня, сразу в окно шасть, и нет хитрована, утёк. Отлично устроился, первый этаж, окно решёткой не забрано. Ну, да мы тоже кое-что кумекаем. В следующий раз на проверку беру коллегу из управления, Нежную. Мы с ней, как оперативники, соблюдая осторожность, подходим к зданию с другой стороны, я подкрадываюсь к окну, пусть без пистолета, но с удостоверением, замираю под ним, а Нежную отправляю стучать в дверь.

Парнишка по отработанной схеме (похоже, стук условный имелся, а Нежная колотила без всякого пароля) распахивает окно и прыгает мне в объятия.

– Здравствуйте, – говорю, – как мы удачно столкнулись, вы мне как раз и нужны. Пойдёмте-ка на проверку.

Детектив да и только.

Рыльце у него, видимо, было в пушку, не зря с нами не

хотел встречаться. Но в тот раз кроме нарушений в ведении документации, ещё некоторой мелочёвки (кажется, рецепты нашли, три или четыре копии) ничего не обнаружили.

Раз едва сам на криминал не попался. Прихожу в проектный институт... Первый этаж. Длинный коридор, низкий фальш-потолок, в проходе всякая ерунда, видимо, на списание приготовлена. Комната, где интересующая меня техника, тоже загромождена... Шкафы железные, стеллажи, столы, кресло большое в углу. Мощный ротатор стоит... Девушка лет до тридцати... Пышет бабской силой. Крашенные хной волосы, развитые бёдра, на груди под блузкой прёт...

– Может кофейку, – предлагает.

Я ей по-деловому:

– Делу время, потеху на потом.

Мои действия в такой ситуации сродни обыску. Предупреждаю девушку, что буду смотреть везде, прошу открыть шкафы. Два металлических шкафа-сейфа. В первых отделах, что с секретами работали, обычно стояли метра два высотой, шириной больше метра, полвагона туда влезет. Она:

– От шкафов ключей нет.

Держится уверенно, даже с наглостью.

– Мне, – говорю, – всё равно: есть ключи, нет. Не можете вы открыть, я иду к директору, он найдёт, как миленький.

Я проверки проводил напористо. Не размазывал по тарелке. Она заискивающе:

– Ой-ой, не надо директора, я открою, только, пожалуй-

ста, пожалуйста, не губите меня.

Что, значит, не губите? Интересный поворот. Открывает один шкаф, второй, оба забиты под потолок продукцией... Не чертежами и техдокументацией. Сонники, гороскопы, Кама-сутра и даже какая-то порнография. Дешёвенькая, но конкретная...

Производство у девицы стояло на потоке. Трудилась не на институт, а на себя. Я увидел эти масштабы и подрастерялся. С таким объёмом не сталкивался ни разу. Что делать? Составлением акта не обойтись. Всё подлежит изъятию. Надо вызывать милицию. Что касается оформления изъятия – это моя задача, но физическое изымание должны проводить они. Дело уже не административное – не дохленькая брошюрка с рецептами пирогов. Тут углом, то бишь, уголовщиной пахнет.

Заявляю:

– Для начала всё опечатаем.

Ух, она заметалась.

– Ой-ой-ой-ой! Не надо, не надо! Не губите! Хотите на колени встану?

И падает на колени... Я хватаю её за руку, которую ко мне умоляюще тянула.

– Да вы что, – говорю, – в своём уме?

За руку её дёрнул, поднимая. Она, будто повинувшись, ко мне подалась и резко тактику от коленопреклонных просьб поменяла... Ногоу тесно между моих ног поставила, прижи-

мается бедром... У блузки три верхних пуговицы расстёгнуты, под блузкой ничего, только два мощных шара... Мне тогда и тридцати пяти не было... И такой напор огня... В ухо мне выдохнула:

– Может, договоримся? Вы же видите, здесь нет антисоветчины! Я тихонечко всё вывезу! Договоримся...

Жмётся ко мне и подталкивает к креслу, я делаю на автопилоте шаг... Хорошо, сторож в голове не спал, вовремя, пока я брюки не успел расстегнуть, подсказал: эта подлюка может под статью подвести. Изнасилование изобразит. Задравши юбку, заорёт, на помощь начнёт звать. Это не выговорёшник по партийной линии... Оттолкнул её:

– Вы что себе позволяете?

Хватаю за руку и тащу к директору института. Оставлять одну нельзя. Такая халда тут же смоеся. Потом концов не найдёшь. Директора не оказалось, но застал секретаря парторганизации. Рассказал про использование множительной техники не по назначению. И резюмирую:

– Милицию вызывать не буду, составляю подробный акт, а вы сами разбирайтесь! Сами допустили, сами распустили, сами и решайте.

Она стоит злая, губы кусает...

Перед моим уходом, уже без неё, секретарь парторганизации сказал:

– Её давно надо было выгонять за аморалку. Она сначала с одним начальником отдела крутила, тот уволился от греха

подальше, сейчас с хозяйственником нашим шурымурничает, обнаглела вконец...

С множительной техникой чего только не случалось. В какой-то месяц одним из пунктов плана проверки у меня организация с буквенно-цифровым обозначением. Режимное предприятие обычно имело закрытое наименование – почтовый ящик, скажем, п/я В-8091, и открытое, скажем, КБ «Взлет». По картотеке смотрю, у организации кроме буквенно-цифрового обозначения лишь телефон указан. Дальше чистое поле. Ни адреса, ни открытого наименования, ничего. В карточки мы заносили данные о проверках: тогда-то проводились, такие-то акты составлены. Тут девственная чистота. Хотя случалось того круче – номер в карточке даже без телефона.

В данном случае проще, накручиваю телефон, представляюсь:

– Вас беспокоит управление по охране государственных тайн в печати, старший редактор Кожухин, в соответствии с графиком необходимо проверить вашу множительную технику. Пожалуйста, назовите ваш адрес, подскажите, как вас найти, у нас по картотеке нет вашего адреса.

На другом конце провода некоторое замешательство, но затем мужской голос говорит:

– Вы знаете, у нас адреса точного нет, вам придётся проехать до такой-то остановки, сойдёте, перейдёте дорогу, увидите три жилые пятиэтажки, обойдёте крайнюю левую, с об-

ратной стороны здания подъезд, он как бы к жилому дому не относится. Никаких вывесок и надписей нет, зайдёте, пройдёте по коридору, увидите дверь, за ней комната, где за столом сидит человек, предъявите удостоверение... Обязательно возьмите удостоверение и паспорт.

Подробнейшим образом объяснил. Хотя, конечно, дурута, что значит «у нас адреса точного нет». Это ведь не казахстанские степи... Быстро нашёл по описанию дом, дверь заветную. Открываю, глухой коридор, стены в зелёный цвет выкрашены, в дальнем конце коридора одна-единственная дверь виднеется. За ней комнатка без окон. Скупое обставлена: стол стандартный, лампа дневного света на потолке. За столом мужчина в гражданском костюме, с красной повязкой на рукаве. Прямо как в штабе добровольной народной дружины. Повязкой напомнил мне мою студенческую молодость, когда я командовал добровольной народной дружиной, той самой ДНД, в институте.

Чувствую, не ДНД здесь пахнет. Официально представляюсь, протягиваю документы – удостоверение, паспорт. Дежурный тщательно ознакомился, внимательно сличил меня с фото, убедился, что соответствую фотоизображению, затем кнопку на стене нажимает... Открывается дверь, выходит человек, я бы сказал с армейской выправкой.

– Следуйте, пожалуйста, за мной, – пригласил.

Поднимаемся по лестнице на второй этаж и попадаем в широкий коридор, а стены, справа и слева, стеклянные. До

самого потолка стеклянные. Но не оконной прозрачности, а полупрозрачные. И охранник по коридору ходит. Какая-то полуштатская одежда на нём, а на боку кобура с наганом. Вдоль стеклянных стен медленно прохаживается. Коридор абсолютно голый, ни стула, ни стола, ни скамейки. Я с провожатым иду и глаза кошу по сторонам. Помещения за стёклами разбиты на секции (кабинки ли сказать), в каждой перед аппаратурой кто-то сидит. Стекло полупрозрачное, толком не видно – магнитофоны у них или что, но все в наушниках. Что уж там слушают, прослушивают, подслушивают... Никто из наших про эту контору никогда не рассказывал. Думаю, вернусь в управление, поспрошаю... Интересное кино... Поводырю, конечно, не будешь задавать вопросы, не тот случай, да и по лицу его видно, не расположен к проведению экскурсии. Подходим к металлической двери в конце коридора, она вела в комнату, где стоял ксерокс. Тогда это была страшная редкость. Приступаю к проверке и обнаруживаю полный беспорядок в ведении документации. Ничего не соблюдается. Совершенно. Ни книг для записей о производстве копий, ни наших правил, как вести учёт. Я составил акт о нарушениях, мой сопровождающий вызвал какого-то клерка, тот сбегал куда-то, подписал... Обратным порядком меня вывели на первый этаж, любезно распрощались... Час-полтора проверял, не больше.

На следующее утро только заявился на рабочее место, Шабаров вызывает. Захожу, он носится по кабинету, рукой

ёршик свой ото лба к затылку трёт, верный признак – взведён.

– Ты чего наделал?! – ко мне подскочил. – Ты куда влез?! Ты знаешь, где ты был вчера?

Лихорадочно соображаю, где я был? Водку не пил, по женщинам не ходил. Или Шабаров взбеленился, что я домой сразу смотался после проверки? Не поленился и позвонил в странно-таинственную контору, узнал, когда я от них отбыл? Хотя само собой предполагалось, что возвращаться в управление не буду.

– Проверку, – говорю, – делал, вот составил акт. Там нарушений куча.

– Какой акт?! Что ты мне суёшь?! – отталкивает листки с актом. Причём грубо это делает, будто липу ему подсовываю. – Зачем туда пошёл?! Кто тебя просил?! Ты вообще соображаешь, что делаешь?

У меня глаз выпал. Тут уж я на него попёр... Есть у меня слабость, когда на меня буром катят, всё равно кто – жена, мама, начальник – завожусь с пол искры.

– Как это «кто просил»? У меня в плане, вами подписанном, эта проверка!

– Где?

– В картотеке!

– Тащи ящик.

Приношу. Он смотрит, глазами хлопает. План составляла Екатерина Михайловна, он, не вникая, подмахнул.

– Ты, знаешь, в какую организацию ты попал? А как ты прошёл? – спрашивает. Но тон поубавил. Подпись его стоит.

– Удостоверение показал, паспорт, – объясняю. – По телефону сказали, как проехать.

– Забудь и даже в страшном сне не вспоминай об этом. Никому не рассказывай, ни нашим, никому ни слова! Мне вчера такое вкатили, вспоминать не хочу! Всё, иди!

Ему видимо, позвонили и сказали, что вы рассекретили сверхсекретную организацию...

В принципе мне было наплевать: какое начальство. Смело всегда шёл.

Раз проверял партком. Большой завод, партком на правах райкома партии. Третий секретарь весь пружинистый, энергичный. Этакий колобок в дорогом костюме и блестящих туфлях, золотая печатка на левой руке. Позже стал крутым бизнесменом. У них я нашёл кучу нарушений. Как по множительной технике, так и в библиотеке. В библиотеке масса книг отсутствует. Разворовали. Акт составляю, он прибежал – я без него проверку делал – прибежал и такую бочку покатил, цистерну железнодорожную, на «ты» главное:

– Ты что партию вздумал контролировать?

Глаза выпучил, дескать, ты букашка мелкотравчатая на кого замахиваешься?

– Кто тебе давал такие права? – на повышенных тонах продолжает допрос.

Я говорю:

– А мне-то что – партия или профсоюз! Есть установленный порядок. Не нарушайте его! Где книги из библиотеки? Дефицитные, скажу вам, книги! Куда делись? Предъявите и никаких к вам претензий не будет. Множительную технику используете не по назначению!

Он:

– Ах, ты так?! Да я тебя...

Возмутился, будто я основы марксизма-ленинизма раскачивал.

– Мне, – говорю, – положено, я контролирую. Подпишите, пожалуйста, акт и я вас покину.

– Никаких, – орёт, – филькиных грамот подписывать не буду.

И нажаловался Шабарову. Тот на меня напустился:

– Ты почему так ведёшь себя?! Это ведь партком крупнейшего в городе завода! Это не кроватная мастерская! Директор в обком партии дверь ногой открывает, а ты об них ноги вытирать вздумал...

Меня это взъело, говорю:

– Если вы так будете себя вести, перед всеми прогибаться, я буду на вас жаловаться. Чё я буду лебезить перед ними, делаю своё дело, ничего сверх того не потребовал, мне положено по инструкции... А они развели бардак... Какие-то анекдоты размножают, лунные календари. Книги разбазарили! Если они неприкасаемые, уберите из проверок! Что я буду кланяться перед нарушителями?

У Шабарова была привычка в заведённом состоянии, на носки встаёт, в твою сторону наклонится, а потом на пятки обрушивается. Прыгает так и кричит:

– Да ты что наглеешь?! Да я тебя уволю!

– Не уволите, – я на него голос поднимаю, – я тогда пойду в прокуратуру и всё напишу.

– Ты? На меня? В прокуратуру?! Не забывайся, с тебя ещё строгий выговор не снят!

Даже затрясся. Я ушёл, дверью шарахнул.

Но без последствий. Он понял, что я прав и железобетонно буду на своём стоять.

Мужик был нормальный. Не сволочь. Понимал, если что-то сделает, это будет бессовестно. В тот раз в первый и последний напомнил о выговорёшнике. Не то, что Екатерина Михайловна. Та чуть ли не на каждом партсобрании считала своим долгом постучать карандашиком по вазочке, у неё на столе стояла, как лягушка зелёная, керамическая несуразица, и произнести сокровенное:

– Роман Анатольевич, не забывайте, с чем вы к нам пришли..

В 1985 году мы в цензуре дали отпор партийной организации. При Горбачёве общества трезвости стали создавать, райком собрал нас. Я встал и говорю:

– Я по праздникам всё равно выпивать буду, водку не отменяют, хоть по талонам да продают. Буду выпивать. Поэтому встать в общество трезвости не намерен.

– Ну и выпивайте.

– Нет, я не могу лицемерить.

– Вы будьте в обществе трезвости и выпивайте по праздникам.

– Я считаю, если я член общества борьбы за трезвость, то я, как честный человек, как коммунист, должен сам, прежде всего, не выпивать.

Поднимают Нежную, и та упёрлась – не желает в общество трезвости. Чердынцева тоже против. Никто не хочет. Екатерина Михайловна встаёт растерянно:

– Ну, что же делать, товарищи?

Мы ей: начальник управления есть, профорг есть, вы есть – создавайте общество за трезвость и не пейте. А мы выпивали и будем выпивать. Шум начался. И мы все отказались. В первый раз дали отпор. Видно было, что дурота. Они и сами понимали...

Вагон-ресторан

Была у моей бабушки, за цветком которой я полетел в раннем детстве головой вниз, приятельница – Маргарита Степановна. Время от времени старушки сходились. Не один чай пили на встречах. Пивом баловались. Пару бутылочек выпьют, а разговоров на ящик. Вершиной служебной лестницы Маргариты Степановны было директорство в вагоне-ресторане. В несытные пятидесятые годы она не бедствовала и заронила мне мысль, рассказывая под пиво о замечательном прошлом:

– Собираюсь я, Роман, в поездку на нашем фирменном поезде в Москву, беру пустой чемодан да побольше. Возвращаюсь с полным продуктов и денег.

И советует мне, отпив пивка:

– Бросай ты свою брехаловку, здоровый мужик, а тратишь время, язык мозоля. Ладно бы деньги платили. Иди директором вагона-ресторана.

Я говорил ей, что работаю редактором по газетам, конечно, не уточнял о цензорстве. Она, думала: пишу в газеты, а значит, «брешу».

В какой-то момент цензорство обрыдло до не могу, навалилась психологическая усталость. Будто что-то копилось, копилось и начало давить. Натёр душу. Устал каждый день и не по разу отвечать за свой штамп и подпись. Ситуации слу-

чались скользкие, не всегда ясно – прав ты или нет. Но подпись ставишь. А ведь вовсе не так: подписал и сделай ручкой «до свидания, милое создание, век бы тебя не видеть». Создание-издание пошло в народ, его прочитали и забыли, но это не значит, можешь язык показать вослед. Не исключено, вернётся по башке бумерангом. Так как цензура и после выхода той же газеты продолжает держать на контроле, обязательно будет читка на предмет ошибок и нашем управлении и в Москве. Из мухи всегда слона можно разбабашить. Если ты лопухнулся, просмотрел, ошибку могут последующим контролем засечь, и получишь оплеуху. Книга только через полгода после твоей подписи выходит. Вот и жди...

Система цензуры строилась многоступенчатым контролем. Ты, к примеру, подписал «в свет» многотиражку, дал добро. Отпечатали с твоей подачи. Один экземпляр обязательно в управление поступает. Не в качестве презента на долгую память. Газету ещё как минимум пару цензоров читают. За каждым из нас закреплялись определённые многотиражки и районки для контроля уже после их выхода, так называемый последующий контроль. Если ты при этом находишь ошибку, обязан зафиксировать, составить акт и отдать начальнику. Начальник последующим контролем читал «Омскую правду» и «Вечёрку», Екатерина Михайловна – молодёжку. Информация об отловленных ошибках на данном этапе сообщалась в Москву. В Главлит многотиражки, районки и «Вечёрку» не отправляли, только «Омскую прав-

ду» и молодёжку. Зато Москва сама регулярно приезжала с проверками и перечитывала многотиражки, районки, «Вечёрку» за предшествующий период. Контроль совершенно безумный. Маловероятно, проскочить, если что-то осталось. Поэтому где-то в мозгах безвылазно занозы – а вдруг ошибся.

Гнобила однообразность. У женщин психика устойчивей к занудным нагрузкам. По обллитовским дамам видел, они чаще сориентированы на дом, семью, быт. Там сердцевина, там отдушина... А мужик заточен на дело. И тяжело, если в работе нет видимых побед, а изо дня в день одно и то же... Ладно бы деньги победные... Или карьерные перспективы. У цензора удовлетворение – ошибку не сделал. И то нет уверенности до конца.

Меня Шабаров часто бросал на газеты. Самый горячий участок – читать «Вечёрку», к ней приплюсовывались многотиражки. В трудные дни приходилось пропускать до двенадцати многотиражек. К счастью, не в каждое дежурство такой наплыв. Зато перед праздником – того больше. Все заводы, институты торопились поздравить корпоративных читателей, тащили свои газеты чуть не в один день, и ты должен всё успеть. И тогда никаких чаёв, обедов и перекуров, сидишь, не вставая, до позднего вечера. Атмосфера нерво-трёпная. Редакторы тоже на взводе, колготятся за дверью, заглядывают, торопят, у них стоят типографии, у них печатники изнывают на старте. Начинаешь орать:

– Не мешайте, уходите от кабинета!

Появляется внутренняя дрожь от напряжения: быстрой-быстрой. И вдруг затык – подозрение на вычерк... Надо выяснять...

У меня выработалась следующая метода, когда вал шёл. Слева на столе лежит оттиск полосы многотиражки, они выходили чаще А3 форматом, посередине оттиск «Вечёрки» – А2 формата, справа ещё один оттиск многотиражки. Оттиски мазучие, типографская краска свежая... Руки потом моешь-моешь, но домой после такого дурдома приедешь, обязательно или на щеке полоса, или половина носа чёрная.

При гонке невозможно читать, вникая в текст. Ты ведёшь взгляд, скажем, слева направо и сканируешь куски текста в одной газете, второй, третьей, ловишь ключевые слова, фамилии, цифры... В многотиражках закрытых предприятий нельзя употреблять фамилии директора завода, секретаря парткома, выборных лиц (депутатов, начиная с местных советов), Героев Советского Союза – работников данного предприятия, нельзя называть номера цехов, раскрывать их профиль... Кроме того был целый список громких общеизвестных фамилий, которые не рекомендовалось пропагандировать, например, Высоцкий. Кажется – Стругацкие, Лев Гумилёв... Николай Гумилёв – это точно... Не запрещены совсем, но лучше убрать...

Взглядом блок текста выхватил – ничего не засёк – зачеркнул, чтобы не повториться, следующий на мгновение зафик-

сировал в голове – зачеркнул... Хоп, подозрительное (название предприятия, название закрытого города, фамилия генерала... названа автодорога, которой нет в атласе, между такими-то населёнными пунктами), подчёркиваю красным... До упора вправо прошёл, веду взгляд полосой сантиметров в пять налево. Разные статьи, разные темы, разные газеты... Наплевать на контекст, я ловлю криминал. Зачёркиваю ерунду с точки зрения цензора, красным отмечаю сомнительное. Голова идёт туда, затем – сюда, туда, сюда. Входишь в ритм, ты уже не читатель – ты на самом деле сканирующее устройство. Мозг в состоянии крайнего напряжения, стопроцентной нацеленности... Наверное, так бывает у лётчика-истребителя на критических режимах полёта, когда ему достаточно мгновенного взгляда на приборную доску, чтобы понять: все ли системы самолёта работают нормально.

Таким образом сканирую до конца все три полосы. Пора выяснять, так ли страшно выделенное красным. К примеру, попало незнакомое название предприятия, лезу в «Перечень», внесено такое в список запретных, можно упоминать в открытой печати или ни под каким предлогом. По закону бутерброда, шмякающегося маслом на новые брюки – обязательно при таком напоре, какая-нибудь хрень вылезет в «Вечёрке», надо вести переговоры с главным редактором, ответсекком. Бежишь к ним. Они все семи пядей во лбу, стараются послать тебя подальше. Тащишь в доказательство своих аргументов запрещающие документы. С многотиражками про-

ще, тут не до церемоний – убрать и всё. Не хотите – свободны, берите ваши полосы, идите и думайте, как вам жить, с газетой или без. С «Вечёркой» сложнее. Не тот уровень. Приходится церемониться. Споришь с ними, уговариваешь, мокрый весь...

После двух или трёх лет работы стал за собой замечать, чем больше встречается трудно разрешаемых вопросов, тем больше начинаешь концентрироваться и вводить себя в состояние, которое даёт ощущение кайфа. Подспудно начинаешь ждать этого экстрима. Хочется сойтись лоб в лоб с редактором и обязательно нагнуть его, повозить носом по тому же «Перечню», заставить сделать по-твоему. В характере стали появляться жёсткие черты. Однажды Екатерина Михайловна привела мужика в Обллит, психолога, для лекции-беседы. Он поведал, что психологический портрет человека соответствует животному, которое ему больше по нраву. Я к кошкам с детства равнодушен. Мама без ума от них. Меньше двух никогда не держит. Психолог меня спросил про любимое животное, у меня вдруг срывается с языка:

– Волк.

– А что вы хотите, – учёный прокомментировал, – у вас такая профессия.

Посмеялись, но я подумал: на самом деле, что-то такое во мне сдвинулось. Ощущение: тебе надо хватать, вырывать, кого-то загонять в угол. И возводишь это в ранг побед, это оправдывает твоё существование. Никто не оценит, но ты-

то знаешь. И результат, вроде, минимальный – тебя не ругают, выговорёшники не получаешь. Но внутри всё звенит – ты смог. И чем экстремальней ситуация, тем больше самодовольствия.

Когда течёт вяло, нет сложных мест – пресно. На душе кошки скребут. Вроде ты вообще ничего не значишь... Тогда случался мандраж: наверное, я просмотрел, не поймал. Уже подписал, забрали в печать, но хватаешь предварительный оттиск газеты (самый первый, который тебе приносили, его не надо подписывать; подписываешь второй после визы редактора), начинаешь лихорадочно читанное перечитывать. Пару раз находил так ошибки в «Вечёрке», звонил в типографию «не печатайте». Бежал к редактору... Потом прямо со станка исправляли.

В итоге за несколько лет накопилась психологическая усталость от цензорства, жизнь стала видится бесперспективной... В Обллите работа тупиковая, выше старшего редактора трудно прыгнуть, кресло начальника управления не занять. Должность хоть и не велика, да номенклатурная, обком партии распоряжается, и замшу не перепрыгнешь. Выходит, никогда не заработаю на машину, никогда не съездить хоть в один из круизов, по которым моталась наша Раиса Чердынцева. Года идут, время летит, жизнь проходит... И возник вопрос: не поменять ли что-то в судьбе, пока силушка в теле, в мозгах смазки хватает...

А Маргарита Степановна говорит о быстром финансовом

прорыве в вагоне-ресторане...

В таком настроении захожу однажды в трест вагонов-ресторанов. К начальнику отдела кадров. И говорю прямым текстом:

– Хочу работать директором вагона-ресторана.

Доложил о своём высшем юридическом образовании, показал диплом, рассказал о наличии жизненного опыта. Почему-то считал, что в вагонах-ресторанах директорами работают люди максимум с техникумом советской торговли, а тут молодой мужчина с юридическим институтом за плечами, следовательской практикой. Ухватятся за такого кадра, подгонят ему ресторан на колёсах: трудитесь... Но не бросились тут же оформлять меня, пока не передумал. Я даже фразу заготовил, дескать, не так сразу буду устраиваться, надо уволиться на прежнем месте работы.

– Диплом юриста хорошо, – не вдохновился моим устным резюме начальник отдела ресторанных кадров, – но у нас сфера обслуживания, здесь специфические знания нужны.

Я не загрустил от его отрицательных слов.

– Готов, – говорю, – подучиться.

– Попробуйте, – без энтузиазма сказал начальник, – сходите в наш учебный комбинат, может, возьмут.

Из краткого разговора я понял, с наскака на хлебную должность не прорваться. Вскоре убедился окончательно, не я один такой шустрый, кто в железнодорожном общепите не прочь приложить свои таланты. Был у нас в городе на Се-

верных учебный комбинат вагонов-ресторанов. Я и знать не знал, насколько престижно данное учебное заведение. Единственное, или вроде того, за Уралом. В юридический куда проще поступить. С улицы в учкомбинат не суйся, строго по направлениям. А я с улицы. Заведующий учебной частью, видя мою настойчивость, поставил условие:

– Для начала месяца два в разноске поездите, а там посмотрим, подойдёте или нет. Согласны?

Я не обиделся на самую низовую должность. Меня тоже упрямство взяло. Грузчиком я работал, а разноска – это, пожалуй, повыше статус, всё-таки с живыми деньгами дело имеет работник, материальная ответственность. Даю согласие. Шабаров со скрипом подписал заявление об уходе. Сказал ему, что не вижу для себя перспектив в Обллите. Ещё молодой, надо попробовать. Поблагодарил его, что взял в трудный период к себе

– Если что – приходи, – пожал руку на прощание, – конечно, старшим редактором сразу не возьму, а редактором всегда.

Я уходил старшим редактором.

Жена мне:

– А знакомые увидят? Журналисты... Ты был уважаемым человеком и вдруг на побегушках «подай-принеси»

Но если я принял решение, мне наплевать... А встречать, встречал кой кого. С любителем поэтесс Ивановым раз столкнулись. Стоит в тамбуре курит, я с тележкой.

– Это что ж вы так? – с подковыркой спросил. Дескать, опустились ниже плинтуса. Я в долгу не остался.

– Чтобы вы, – потревожил его мозоль, – беспрепятственно писучих поэтесс печатали в своей газетке.

Попадал я в матёрую вагоно-ресторанную бригаду. Подозреваю, специально сунули проверить на морозоустойчивость. В бригаде прожженные зубры сферы обслуживания на колёсах, что по рельсам стучат. Директор вагона-ресторана пробы ставить некуда, разбитной мужик и шеф-повар ему под стать ... Конкретно деньги делают. Ко мне отнеслись настороженно. У меня принцип: не скрывать о себе информацию, лучше самому сказать, чем со стороны нашепчут... Не выразили восторгов на моё юридическое образование и опыт работы следователем. Но я им сразу сказал: я пришёл работать, деньги зарабатывать, а не следствие проводить, выискивать, что тут у вас и как... Директор вагона-ресторана Виктор Леонидович, всегда с улыбочкой, всегда настроение позитив.

– Хорошо, хорошо, – говорит, – будем работать.

И принялся меня муштровать.

Разноска от кухни обычно как работает: три-четыре раза за день пройдут и всё. Я так и думал. Меня грузили постоянно. Завтрак, обед, ужин – само собой, а и между ними бегаю. Один контейнер с судками продал – получи следующий, его продал – меня снова грузят. Как часов с семи утра начинал бегать, так пока свет в вагонах на ночь не погасят. Часов до

десяти-одиннадцати вечера, а бывало и за полночь. На износ меня решили прогнать-проверить. И я, как пацан, а мне уже тридцать два года было, бегаю. Хоть всегда держал себя в спортивной форме, ноги с непривычки гудели, присяду передохнуть, мне или Виктор Леонидович или шеф-повар Коля:

– А чё ты сидишь? Зарплата от твоих ног.

Конвейер нескончаемый. Упахивался, как в концлагере. Похудел. К ночи до полки еле добирался, и никаких вставаний в туалет. Проваливался, как в яму. В шесть утра подъём, будят: вставай, готовь колёса.

Однажды вот так же дотащил себя до купе, кости кое-как на верхнюю полку забросил, подо мной на нижней полке спал шеф-повар Коля. Настоящий повар. Морда круглая, башка тыквой, волосатые ручищи, и килограммов сто упитанного живого полезного веса. Сплю, а мне сон снится... Ну, что может снится при таком образе жизни, когда весь день с судками? Судки и снятся. Будто иду по вагонам с ними. Из одного в другой перехожу, а между вагонами фартуки подняты, и не шпалы внизу мелькают, не рельсы – пропасть чёрная, бездонная... Я в эту жуть делаю шаг вместе с тележкой, кого уж там кормить собрался... Говорят, сон в руку. Мой и в руку, и на руку... Полетел с полки...

Шеф-повар Коля имел обыкновение спать, откинув руку. Она с полки чуть не до пола свесится... Во мне пусть не как в Коле, но килограммов семьдесят было на тот момент. Плюс

высота, с которой они летят... Хватило бы перелом Колиной конечности устроить... Повар не музыкант, но тоже рука не лишняя член организма... Но я и падая не сразу проснулся... То есть, в действительности лечу с полки, а в голове продолжается трагедия с падением между вагонами в пропасть... Но не хочу туда, изо всех сил не желаю в эту преисподнюю, машинально руки крестом расставляю, чтобы зацепиться от падения... Но не за фартуки зацепился во сне, а наяву за верхние полки... Не долетел до руки шеф-повара, только и всего чуть задел её ногой. Повезло, Коля бы и одной рукой прибил, случись перелом второй... Кулаки у него... Настоящий повар-мясник...

Как-то вечером перед закрытием вагона-ресторана курица на кухне осталась. Коля с поваром-помощником быстро её порционно разделили, мне команда: разнести. А время уже одиннадцать подходит, народ спать ложится, а я с курицей бегу. Смотрю, в одном плацкартном вагоне сидят три парня, благоватые. Говорю:

– Что, ребята, только что сели, есть, наверное, хотите?

Они:

– Похавать мы всегда давай.

И полезли в карманы рассчитывать.

– Да ладно, – говорю, – обратно пойду, расплатитесь.

Тороплюсь дальше бежать, пока народ не заснул. Проскочил до последнего вагона, возвращаюсь к этой троице и прошу рассчитаться. Они делают морды кирпичом:

– Иди отсюда! Какая курица?

– Не понял, – говорю – вы три порции брали, вот тарелки.

– Мужик, ты чё не понял? Сказано: вали кулём. И вали!

– Зря, – говорю, – вы так.

Забрал тарелки...

А у нас кухня – мужичьё одно. У Коли помощник – тоже громила, танк в плечах. Плюс сторож (охранник по-современному) не хуже мордоворот. Рожа – страшнее атомной войны. Встретишь на улице – жить не захочется, такая рожа. Обезьяноподобная фигура... Гоп-компания. Я им обрисовал конфликтную ситуацию. Коля командует своим головорезам:

– За мной!

Переходим между вагонами, один из не рассчитавшейся тройцы курит в тамбуре. Увидел нас и успел закрыть защёлку. Мы кричим: сейчас на станции перейдём, хуже будет, открывай. Открыл. Коля тут же следствие начал:

– Брал курицу?

– Нет, это ребята.

– Ты с ними?

– Да с ними.

– Рассчитывайся.

– А почему я?

Коля устал от диалога, как врежет несговорчивому в лоб. Тот упал. Коля его за шиворот взял, поднял, как котёнка, встряхнул, привёл в чувство:

– Будешь расплачиваться?

Он головой кивает: да-да-да. Достает деньги... Я ему двадцать копеек сдачи отсчитал. Коля поднимает с пола сигарету, что парень курил, она ещё дымится, и приложил потерпевшему от своей жадности ко лбу:

– Это тебе на память. Ходи с меткой, как индеец, и больше так себя не веди.

Вернулись в вагон-ресторан. Я говорю:

– Спасибо, ребята, но завтра они меня зарежут.

Утром иду с судками, троица сидит, увидели меня, закивали вежливо:

– Здравствуйте.

Бегая с судками, с Аллой Гораниной столкнулся, в цензуре вместе работали, она с год всего. Таких красавиц не видел вживую ни до, ни после... Только в кино... Неправдоподобно огромные голубые глаза, тонкие черты лица... Ничего лишнего... Каштановые волосы до плеч... Прекрасная улыбка, искренняя, открытая... Рост выше среднего, отличная фигура. А ведь родила троих детей. Рано вышла замуж, таких женщин не пропускают... В Облит устроилась лет в двадцать семь. Когда в первый раз Аллу увидел, остолбенел: вот это женщина, вот это экземпляр! Мелодичный голос... Как сказал Пушкин: «Всё в ней гармония, всё диво, всё выше мира и страстей...» Всё да не всё – от неё разило потом. Бывает же такое... Так и хотелось сказать: «Алла, душ надо почаще принимать!» Скорее всего, были проблемы с эндо-

кринной системой. Может, природа специально так устроила – от лишних грехов избавить...

В меня Алла втрескалась... Муж у неё домовитый, рукастый... Мы раза два управлением собирались у них – дома и однажды на даче... Муж работал каким-то начальником в дорожном управлении... Сам из района, по натуре простоватый... Разговоры у него крутились вокруг бытовухи, что построить на даче, как отремонтировать лодочный мотор да на рыбалку сгонять... Ей, видимо, хотелось чего-нибудь возвышенного... А тут я... Могу стихи почитать, я их никогда не учил, сами западали в память, от мамы-актрисы память досталась, могу о художниках рассказывать, в том числе и местных, как говорил: выставки были в моём ведении, все новости знал... Алла в меня влюбилась... Стала подавать знаки... Утром как-то пришли первыми: сначала я, следом она заходит. Встала напротив моего стола:

– Ух, – сжала зубы, – так бы и поцеловала! Так бы и стиснула!

Не скажешь ведь в глаза: не терплю я, когда от женщины потом воняет. Не Наполеон я, который любил женщин с духом, да чтоб поадрёнее запах шёл. Раз всё-таки случилось у нас. Ездили на проверку в библиотеку на Левый берег. Быстро справились, хороший июньский день, она предложила пойти на пляж. Мы в районе парка Победы вышли с троллейбуса, вина купили... И там на пустынном берегу, в густых зарослях ивняка, расторможенные парами вина, со-

грешили... Она жаловалась, что мужчины её преследуют... Мы покупались, позагорали... Замечательный день, высоко в небе редкие облачка, ветерок в листве... Меня пробило на стихи... На следующее утро Алла подходит, глаза светятся, но снова запахом пота от неё невыносимо несёт...

Недели через две случилось так, что какая-то из наших женщин пожаловалась коллегам, будто кто-то заложил её начальнику. Алла, может в шутку, ляпнула, дескать, я с начальником в хороших отношениях, наверное, знаю. Это прозвучало так, будто я и заложил. Скорее всего, она не хотела, но вышло, как вышло. Меня настолько задело, я вспылил и грубо рубанул:

– Я не Павлик Морозов закладывать! Вы не знаете и заткнитесь!

И ещё почему-то бросил:

– С вами каши не сваришь!

Никогда в жизни не наушничал, да и ради чего. Поэтому вырвалось резкое, грубое. Она тут же уволилась. На следующий день подала заявление. Я понял, из-за меня...

По купейному вагону тащу тележку и вдруг она. Обрадовалась. Что? Как?

– Коробейником, – говорю, – служу.

В двухместном купе ехала. Приглашает:

– Заходи, я одна.

Многозначительно приглашала. Не остановило, что мой общественный статус на нижней ступеньке вагона-рестора-

на. Я зашёл, она засуетилась, что-то на стол принялась метать. Я присел, она рядом плюхнулась, угощает, ко мне придвигается, а я ничего не хочу. Даже не обратил внимания на особенности её ароматов... Был запах пота или нет... Минут десять посидел, и поволок тележку дальше...

Почти два месяца продолжалось моё испытание. Кухня стала ко мне нормально относиться. Понравилось моё трудолюбие. Стали подкармливать. Надо домой краковской колбаски – на кружок. Надо ещё какого дефицита – не отказывают. А я присматривался к их работе, как получают товар, как реализуют его. Как химичат. Набираюсь опыта.

Характеристику мне директор вагона-ресторана дал нормальную. И меня взяли в учкомбинат на учёбу. Там девчонка ещё училась, Светка, на шеф-повара. Отучились. Делают нам бригаду. Я, Светка, нам новичкам дают опытную официантку... Тогда бригада была: директор, шеф-повар, повар, рабочий кухни, сторож, две официантки, разносчик...

За всеми ухо надо остро держать. Официанты воруют у кухни, кухня – у официантов. В вагоне-ресторане рундуки, весь товар там, они не закрываются на замок. Элементарно можно таскать. Я сразу сказал:

– За вами следить не собираюсь. Мне всё равно, что вы тут будете делать. Мне нужно, чтобы у меня был ажур.

Официанты, естественно, директору после рейса приплачивали.

Первый рейс съездили нормально. Со второго начались

приключения. В Москве товар привезли, получаем, по накладной смотрим: недостача почти по всем позициям. По накладной десять килограммов селедки, перевешиваем – всего четыре. Колбасы не хватает три килограмма. Мяса килограммов пять... Надька-повар – щепка щепкой, но как раскроет рот, скандалистка была, напустилась:

– Забирайте своё и везите! Что вы нам подсовываете недостачу!

Они невозмутимо:

– Ладно, увезём, но у вас весы сбитые.

Надька на них орёт:

– У нас всё в порядке! Это у вас сплошной недовес!

– Хорошо, мы всё забираем, и вместе с вами едем к нам на базу в Мытищи, и вот увидите: там будет всё в порядке. Но обратно вы повезете товар сами, за свои деньги, иначе поедете пустые.

Дураку ясно: на базе они незаметно подложат при перевесе, и не заметишь. Там такие ухорезы крутят-вертят. Выставят тебя идиотом. Я понял: это проверка на вшивость, как мы себя поведём? В бутылку полезем или воспримем правильно, нам ведь с ними работать. Когда мы, новички, первый раз приехали в Москву, они не стали нас испытывать, а тут устраивают шоу со сбитыми весами. Этакий экзамен: выезжая в рейс, ты уже изначально едешь с недостачей. Нужно её покрыть и заработать ещё. Я Надьке фонтан затыкаю:

– Не выступай, иначе поедем пустыми, а это вообще кран-

ты.

Взяли товар, и недостатки по итогам поездки не было. После этого Москва к нам стала нормально относиться... В пределах разумного недoves был...

Я уже через месяц работы директором вагона-ресторана почувствовал разницу в жизни. Тур отъездил... У меня была огромная сумка. В Москве купил, был тогда магазин «Белград», товары из Югославии продавались, в нём взял классную кожаную сумку. И объёмная... Как раньше говорили – оккупационная. После тура беру сумку на плечо... И душа радуется... Не зря пахал... В отстой вагон загоняют, я с сумкой иду домой... Если бы в этот момент ОБХСС взяло меня за жабры – ничего доказывать не надо. Это я как следователь говорю... Икра чёрная, рыба красная, мясо, колбаса, курица. И деньги, конечно... Огромная сумища битком. Жена вспоминает: «Пока ездил – райское время было». По тем временам икра – страшный дефицит, у нас дома – пожалуйста, постоянно, красную рыбу тоже днём с огнём в магазинах не найдёшь... Сгущенки свободно на прилавках не было, у нас не переводилась...

Есть станция Агрыз, небольшой городок, и такая там голодуха в то время была, даже крупы не купишь. Жители встречали все поезда, что шли мимо. Быстренько очередь выстраивалась к вагону-ресторану, мы колбасу продавали, план надо делать. Потом порционно разбивали, по кассе пробивали, будто мы реализовали посетителям вагона-рестора-

на. Кто через Агрыз ходил, все торговали. Стоянка десять минут. Хватало времени.

Как-то в ресторане сидим, менты заходят, человек десять, и не ниже майора, все в Агрыз. Как потом выяснилось – на областное совещание ехали. И просят: колбаски взвесьте. А Светка:

– Нет колбасы никакой, ничего продавать не буду.

Они ушли. Я говорю:

– Света, ты сейчас одну из главных ошибок сделала. Это не простые менты, они едут на областное совещание, все при чинах. Они тебя запомнят.

Я пошёл в штабной вагон, узнал, в каком менты едут. Даже узнал, как старшего зовут. Фамилия была Садыков. Нашёл его, представился. Говорю:

– Вам мой шеф-повар не продала колбасу, я директор и вам продам, подходите.

Смотрю, Светкин помощник взвешивает и у него аж руки дрожат, привыкли обвешивать, а тут надо точно. Я его прогнал, сам встал за весы. Отоварил всех. Отдал колбасу, получил деньги. Смотрю, один мент несётся минут через двадцать пять:

– Извините, все колбасу купили, я задержался.

Светка, будто с цепи в тот день сорвалась, опять своё:

– Нет колбасы.

Не может смириться, что столько колбасы без навару продала. Приборзела уже.

– Хватит, – говорю, – дурью маяться, они тебе перекроют лавочку в Агрызе, вообще ничего не продашь!

Я взял палку колбасы, взвесил, нашёл того мента, отдал колбасу, взял деньги. И говорю:

– Вы в Агрыз едете, там люди ждут нас с колбасой. Если будем торговать, вы нас возьмёте за жабры?

– Конечно, – смеётся, – вы же обманываете население, обвешиваете.

– Да что мы там обвешиваем, ну граммов пятьдесят иногда недовес, вагон качается. Народ ждёт нас с колбасой. В Агрызе в магазинах шаром покати. Может, – спрашиваю, – разрешите нам продать? Специально везём.

Я представился, что был следователем облпрокуратуры.

– Классно ты устроился, – опять он поулыбался мне и ничего конкретного не пообещал.

Ехали они в вагоне, что рядом с вагоном-рестораном. Думаю, как будут выходить? Не станешь торговать, если они строем мимо пойдут. По-человечески поступили, прошли через пять вагонов, только потом вышли, чтоб нас не смущать. Вроде как – ничего не знаем, ничего не видим.

Приходилось крутиться. Когда в Ташкент ходили, только Казахстан проехали, всё – начинается предпринимательство. Меняются расценки, и никто на это не смотрит. Ревизоры зашли, главное – сервировку стола сделать. Откормить ревизоров, и всё в порядке. Деньги у меня не требовали. Стол накрывал. В Ташкент приезжаешь, заскакивает санитарный

врач, у него такса – две курочки. Дашь и всё: значит, его проверка прошла нормально.

Горбачев со своей борьбой за трезвость вино снял, буфет до этого делал деньги в основном на вине. Как быть, когда его нет? Вы, говорю, работаете в торговле и ничего не соображаете. В Ташкенте в такую жару, прежде всего, что человеку хочется? Пить. Мы затарились соками, полвагона-ресторана банками с соком забили. Я говорю: разливайте по стаканам. Девки, конечно, булыжили, получился напиток. Разлили по стаканам и в холодильник. При посадке в Ташкенте расставили на столы. Народ на вокзале истомился, пить только давай, а мы ледяной напиток. Налетели, как прослышали про наш сервис. Никто ничего не понял, одна баба только:

– У вас не сок, а напиток, а вы берёте за сок.

– Разве? – подхожу. – А где ваш стакан?

– Вот.

Я беру, выпиваю.

– Нет, – говорю, – сок.

– Галя, – командую, – налей женщине. При ней открой банку и налей, пусть сравнит.

Женщина выпила, пожалала плечами и молча ушла.

Полтора года отъездили, у Светки начались конфликты с официантками, Галка-повариха борзеть начала, поначалу вроде нормально вела себя, потом стала хамить. И вот едем в Казахстан. На одной станции под Барнаулом торговлю мы на стоянке открыли, кто-то колбасу схватил, а поезд пошёл,

деньги не успели отдать, Галка повариха трёхэтажным матом обложила, а такая горластая – весь вокзал слышал. Возвращаемся из поездки, на нас жалоба. Поезд известный, вагон-ресторан один в нём. Особого следствия вести не надо. Зато надо доказать. Вызывают меня, официанток, поварих на разборку, сидит начальство треста вагонов-ресторанов. Спрашивают:

– Видели ситуацию?

– Ничего, – говорю, – не видел, ничего не было.

– Ну, как не было, здесь же пишут: молодая повариха и у неё родинка на щеке. У неё же родинка есть?

Я с наглыми глазами:

– Не вижу у неё родинки на лице.

Замдиректора треста кричит:

– Как это нет? Вот же!

– Это, – говорю, – не родинка, а бородавка.

Я как следователь смекаю: трудно нас зацепить. В жалобе ни фамилии, ни имени не указано... Нет конкретной привязки... Стою на своём:

– Ничего не было, ничего не видел.

Но им нужно раздуть. Хотели нас показательно высечь. Главный технолог ко мне подскакивает:

– Как это ты, директор, и не видишь, что в твоём тамбуре делается?

– Если я буду видеть, вы меня и накажете. Поэтому ничего не вижу.

Пощумели, покричали, а сделать ничего не смогли. Но бригаду в отместку разогнали. Я подаю заявления об уходе.

– Раз, – говорю, – бригаду разбомбили, работать не буду, мне чужаки не нужны. Я этих людей знал, с ними работал...

Мне предлагают съездить последний раз, сделать рейс, а потом уже уходить. По-хорошему вроде как предлагают. Думаю, ладно, съезжу, а там будет видно. И согласился. Спасибо, был в бухгалтерии мужичок знакомый. Несколько раз через меня отправлял в Москву посылки, дочь у него там училась. Сколько раз убеждался, делай людям добро, и оно вернётся. Он шепнул:

– Не вздумай ехать, тебе бригаду ОБХСС собираются посадить. И тогда хоть будет у тебя к чему-нибудь прикопаться, хоть нет – они всё равно найдут.

То есть было решено меня наказать, могли и уголовку пришить. Я наотрез отказываюсь ехать. Директор треста:

– Мы тебя по статье за прогулы уволим.

Я иду к Шабарову и прошусь обратно. Обрисовал ситуацию.

– Вы молодые, – сказал Михаил Ильич, – все шибко-шибко умный, а без нас стариков не можете. Иди пока почирикай с нашими женщинами, соскучились, поди, по тебе, а я пару звонков сделаю.

Через минут двадцать позвал:

– Иди в свою торговлю и забирай документы, рассчитают.

Как потом я узнал: шеф позвонил в Москву, а оттуда дали

команду в трест вагонов-ресторанов

Взял меня Шабаров, как и обещал при увольнении, редактором, прилично я потерял в деньгах. И год держал на минимуме. Хотя в Обллите сразу, как я пришёл, появилась вакансия старшего редактора, ушла с этой должности Елена Рунец. Не совсем, конечно, ушла...

Елена Сергеевна Рунец по комплекции была самой крупной из женщин Обллита. Фундаментальная дама. Высокая, широкая. Не толстая, а пропорционально упитанная. Из учителей. Химию какое-то время преподавала в школе. Недолго. Мы с ней вместе начинали в Обллите. Всё шло нормально у неё, а потом начались какие-то припадки. Вдруг становилось плохо, начинало дёргать, закатывала глаза. Наша замша Екатерина Михайловна в лепёшку разбилась... Это ей было бальзам на сердце что-то организовывать для своих работников: лечить, пробивать путёвки, устраивать детей в институты... Не ошибусь, если скажу: была со всей медицинской профессурой города знакома. И с любой другой профессурой тоже. В университете масса знакомых преподавателей, в политехе. Знала артистов, художников... Связи имела во всех сферах...

Сделала она для Рунец профессора. Тот обследовал и определил, что имеется у нашей труженицы уникальная болезнь какой-то железы, которая выражается в том, что происходит самоотравление организма ацетоном, и человек впадает в неменяемое состояние. Болезнь неоперабельная. Ле-

чение сложное. Может даже что-то в головном мозгу, куда не залезешь. Получила Елена инвалидность рабочей группы, Божко её поставила с уникальным диагнозом на радио работать, на наш самый легкотрудный участок. Так удачно получилось, Райку-разведчицу только-только уволили, место освободилось, все мы мечтали туда попасть, но отправили больную.

По жизни она отличалась хозяйственностью, детей хорошо опекала. Муж строитель, начальник строительного монтажного управления. Основательный мужчина. Хозяин. Мы раза два у них гуляли. Частный большой кирпичный дом, капитальный гараж. Елена была хлебосольной хозяйкой. До отвала гостей кормила-поила. И гусь у неё, и голубцы, и мясо... И домашние настойки, и самогонка собственного приготовления (отличная, кстати), и водка, и вино...

Сама дома ни грамма не пила, нас угощала... Так-то выпивала в наших компаниях, но дома – нет...

А как вышло на поверку, слаба Елена была на спиртное...

На радио свобода, контроля никакого... Как-то редактор радио с текстами на проверку заходит в наш кабинет, а он длинный, как я говорил ранее, метров семь от двери до стола и тёмный. Заходит, а в кабинете пусто. Нет никого. Потом стал присматриваться, какая-то возня под столом, шевеление. С опаской ближе подошёл. И вот те раз: под столом ползает редактор Обллита и кого-то ловит, ладонью прихлопывает. Шмыгающих тараканов или бабочек... Одно то, что та-

кая крупная тётя сидит под столом, странно, она ещё ловит невидимые существа... У редактора радио естественная реакция:

– Елена Сергеевна, что случилось?

В ответ отборным матом:

– Пошёл ты...

Редактор радио даже не пошёл, побежал к телефону «скорую» вызывать. «Скорая» поставила диагноз: белая горячка. И не от ацетона, вырабатываемого организмом.

Я вместе с Екатериной Михайловной прилетел на радио, Елену уже увезли. В нашем кабинете на радио стоял сейф, огромный сейф, выше человеческого роста, точно такой, около которого меня чуть не поимела та девица за неразглашение её тайны по эксплуатации множительной техники. У девицы сейф был заполнен под завязку левой продукцией, у Елены на радио – до верху забит пустыми бутылками. Конечно, она их не по скверам собирала. Таскала в кабинет полные, и почему-то лень было выносить. Видимо, хотела одним разом. Хотя кто его знает, что её голова, якобы отравленная ацетоном, думала... Если вообще думала.

Екатерине Михайловне пришлось вытаскивать Елену из психушки, заминать неприглядную ситуацию. Как ни просил муж Елены, как ни обещал клятвенно лечить супругу от алкоголизма – оставить её в Обллите не было возможности: засветилась на радио во всей красе. Уволили Рунец по-тихому, по собственному желанию.

Шабаров потом разводил руками:

– Радио у нас прямо алкогольный участок получается. Косит женщин одну за другой. Не знаю, кого и посадить туда. Вы мне трезвыми нужны. У нас вообще получается вместо борьбы за трезвость, борьба на уничтожение зелёного змия путём выпивания целыми шкафами.

Вор, НЛО и свобода

Времена покатались весёлые. В большом и малом. Вскоре, как я вернулся в Обллит, попало наше славное полуподпольное учреждение в криминальную хронику. Не в газетно-криминальную, тут мы не дали журналистам, как те ни ухитрились, потрепать наше честное имя. А вот в судебном деле пришлось фигурировать.

На нашем этаже вдруг начались мелкие кражи. Чужих вроде как нет, а у кого-то кошелёк из сумочки пропал, у другого зонтик из стола. Мы стали коситься друг на друга: не среди нас ли вор завёлся? Деятельная Екатерина Михайловна предложила обратиться в милицию, чтобы те устроили ловлю. Кошелёк обрабатывается специальным составом, нечистый на руку берёт его, и кожа его рук становится в буквальном смысле нечистой – чернеет. И не смоешь, как мылом ни три. Я наотрез отказался делать живца из моего кошелька. Но вор без милицейской краски выявился. В обеденный перерыв обычно все разбегались из управления, беспечно не закрывая двери. У Нежной украли норковую шапку. У меня книгу. Тогда книги в дефиците были. Я оставил французский детектив, Сименона, в ящике стола. Он исчез.

Но и вор с нашей беспечностью потерял бдительность. Екатерина Михайловна его застучала. В обед выскочила в магазин, возвращается в управление, в наш коридорчик за-

ходит и видит: мужичок ширк в комнату для приёма посетителей и в дамскую сумочку. Казачка Екатерина не стала охать-ахать и звать на помощь. Оценила противника, мужичок хлюпенький. И пошла в атаку. Прыгнула к дверям на предмет задержания преступника, увидев её, вор, не выпуская из рук добычу, метнулся на выход, но Екатерина швырнула его обратно – «сидеть!» и, пока он летел, закрыла дверь на замок. Не с внутренней стороны. До самосуда не стала опускаться. Захлопнула ловушку, после чего вызвала милицию: приезжайте, на месте преступления пойман вор.

Мы с обеда возвращаемся, она гордо докладывает:
– Вор задержан с поличным! Милиция едет!

Мы обступили героическую замшу, требуем подробностей задержания. И вдруг грохот в комнате-ловушке, звук разбитого стекла. Что-то непотребное твориться за закрытой дверью. Милиция всё ещё в пути, ей торопиться некуда, раз вор пойман. А у нас непонятно что твориться. Открываем комнату с вором, а в ней один сквозняк гуляет. Нет задержанного. Окно нараспашку, стекло выбито. Бросились смотреть из окна, что стало с вором, сиганувшим на свободу с четвёртого этажа, но смотреть не на что. Внизу ни тела, превратившегося в труп (с такой высоты упасть), ни криков людей от страшной картины разбившегося вдребезги человека. Место бойкое, людное, центровое. Магазин «Яблонька», рядом автобусно-троллейбусная остановка... Однако народ преспокойненько ходит, будто никто ниоткуда не прыгал им

на головы.

– Может, его ветром снесло? – выдвинула фантастическую версию Нежная. И тут заходит курсант школы милиции.

– Кого потеряли? – спрашивает.

На что Екатерина Михайловна воскликнула:

– А вы говорите, милиция плохо работает?

В тот раз она сработала на пять с плюсом. Курсант школы милиции стоял на остановке, вдруг видит: из окна четвёртого этажа летит человек, но не с целью самоубийства. По дороге пытается всячески погасить скорость свободного полёта, цепляется за карнизы... В итоге передвижения спикировал на крышу киоска. И стёк с него прямо в руки подбежавшего курсанта. Я по детской несмышлености выпал с четвёртого этажа (дом, напоминая, по соседству с облитовским), этот сам прыгнул, но в отличие от меня – не головой, а ногами вперёд полетел. И никакого перелома. Целёхонький приземлился на киоск. Повезло. Но лишь отчасти – так как сразу попал в объятие правосудия. Курсант, человек сведущий в поведении криминальных элементов, не поверил заверениям прыгуна-летуна, дескать, тот совершенно случайно вывалился из окна, по своему собственному легкомыслию оказался в полёте. Курсант повёл задержанного к месту старта для выяснения причин столь необычного способа выхода за пределы здания. А на старте мы стоим в недоумении: куда девался вор?

И всего-то три рубля украл мужичок. Но всё как полагается, состоялся суд, за каждый рубль вор получил по году срока в колонии общего режима. Журналиги «Омской правды», «Вечёрки», молодёжки каждый со своей стороны написал материал на данную тему. Пусть не бог весть какой криминал. Но далеко не всегда прыжок с четвёртого этажа оканчивается без членовредительства. Это одно, второе – они хотели нас уесть. Пусть ни слова не говоря, кого обокрали, тут не могли себе позволить приоткрыть завесу секретности, но между строк знающие люди знали, кто стоит за неназванным учреждением. Однако мы ни одной строчки не пропустили к читателю. Только месяца через три в центральной газете, кажется, в «Труде» была информушка, что в одном из учреждений города Омска произошло преступление с незамедлительным наказанием. Вор, совершивший кражу, заметая следы, прыгнул почти с двадцатиметровой высоты, он был ещё в полёте, когда к месту преступления подоспел милиционер. Был назван доблестный курсант, улица, куда падал вор из нашего окна, однако Обллит не упоминался как фигурант уголовного дела. Екатерина Михайловна тоже осталась в тени газетной славы, наша замша, проявившая яркий пример героизма в чрезвычайной ситуации, не была названа в публикации.

И ещё раз мы крупно обломали журналистов. Уже была объявлена свобода. Мы между собой долго похихикивали: «Несмотря на то, что во всеуслышание объявлена свобода, я

вчера сделал пять вычерков в “Вечёрке”...» Свободу торжественно объявил нам заместитель заведующего идеологическим отделом обкома партии. Екатерина Михайловна созвала всех редакторов на собрание в кабинет начальника. Шабаров представил высокого гостя. К тому времени Горбачёв уже во всю ивановскую генсечил вместе со своей супругой Раисой Максимовной. Ветры перемен дули в газетах и телерепортажах и вдруг прилетели к нам. Встаёт представитель обкома и говорит буквально следующее:

– Всё! С завтрашнего дня свобода!

Ни слова не приукрашиваю. Так и объявил. У нас глаз выпал, что, значит, «свобода»? Отменяют «Перечень»? Закрывают цензуру? Или разгоняют КПСС? Хотя про последнее мы даже подумать не могли. Это было невероятно. Мы тупо устали на глашатая свободы.

– Вот начинают, – принялся разъяснять понятие «свобода» представитель обкома, – создавать совместные предприятия с иностранцами. Позитивный западный опыт будет перенесён к нам. Новые мобильные предприятия, не связанные госзаказом, не обременённые по рукам и ногам спущенными Госпланом обязательствами, свободные в принятии решений, будут успешно бороться с нашим дефицитом. Также разрешается создавать кооперативы: торговые, производственные, в сфере услуг. В газетах тоже будет послабление, вы свою хватку, свою удавку должны ослабить.

Так и сказал – «удавку».

Я встаю и говорю:

– Извините, можно вопрос?

– Пожалуйста.

– Вы говорите о совместных с иностранцами предприятиях, а кто на них будет работать?

– Как кто? – удивился он моей непонятности. – Наши советские люди и будут работать.

– Но ведь наши советские труженики будут работать по-советски! И вряд ли получится так красиво, как вы расписали.

Он на меня с ненавистью посмотрел и сказал:

– Конечно, сейчас свобода, можете болтать, что попало!

Свобода вся шла сверху. Объявлено было именно так: «Завтра свобода». Как крестьянам читали манифест об отмене крепостного права.

Ни со дня объявления свободы, ни месяцем позже ничего не изменилось в содержании основополагающих для нас документов. Ни слова не исключили из пресловутого «Перечня». Цензура продолжала работать в прежнем ключе, «удавку» мы «не ослабили», лишь некоторое послабление постепенно начало касаться идеологии. Стали разъяснять, что мы не должны строго воспринимать критику партийных органов. Раньше слова нельзя было вякнуть против первого секретаря даже райкома партии, не говоря о горкоме и так далее. Стоит вспомнить моё первое дело следователем облпрокуратуры. Попытался главный санитарный врач на конфе-

ренции вякнуть в пику первому секретарю обкома партии и чуть не упекли за колючую проволоку. В газетах невозможно было даже слегка покритиковать. Боже упаси, чтобы кто-то высказался в подобном ключе. Никто и не пытался. Или о государственной политике. Хоть в сельском хозяйстве, хоть в экономике. Директора завода нельзя было «пропесочить». Если такая критика звучала, значит, дана установка, за него взялись партийные органы. Только конкретные мелкие недостатки на уровне дворника, сантехника, продавца и начальника ЖЭКа.

При Горбачёве тоже долгое время оставалось по-прежнему. Если Андропов начал гайки закручивать, к нам такая лавина документов пошла, не успевали изучать, не то, что применять. Водопад – каждый день новые и новые. Чаше в духе: запрещать, не допускать, не пропускать. Особенно в идеологии. До этого мы руководствовались «пролетарским чутьём» в туманных идеологических ситуациях. При Горбачёве запрещающих документов не приходило, но и старые долго не упраздняли. При Андропове я было приуныл. Прошёл слух: цензуру волюют в состав КГБ, на нас наденут погоны. Даже поговаривали – грядут массовые репрессии, как в тридцать седьмом. Я в них участвовать не хотел, решил уволиться, как только начнут в КГБ переводить. Но «госужас» окончился фарсом: проверками в банях, магазинах и кинотеатрах...

Горбачёв сразу начал с фарса. И вот живём мы в эпоху его перемен, дерготни с борьбой за трезвость, хозрасчётом,

«свободой» и вдруг на этом фоне настоящая сенсация: над Омском пролетел неопознанный летающий объект, загадка века – НЛО. Не где-то в Европах, Америках и Кореях с Японией, не в тропической Африке или Австралии с кенгуру, а в нашей обходимой природными катаклизмами области. Да не из серии – промелькнул неопознанный объект и отбыл с концом в неизвестном направлении. Когда один свидетель есть и тот не до конца себе верит, рассказывая другим об увиденном. Наш неопознанный объект длительное время являл себя городу, даже удостоил чести жителей близлежащих сельских районов. И не просто какому-то рыбаку, вдруг протрезвавшему, показалось. Или охотнику, осатаневшему в тайге от одиночества, померещилось. Лето, погода чудная, и вдруг сразу за сгустившимися в ночь сумерками появляется неторопливый НЛО. Насколько помню, поначалу был висящий шар, от него, как от прожектора, шёл на землю луч. НЛО будто что-то высматривал, шарил лучом по городу и близлежащим окрестностям. Потом шар поделился на два шара. Полгорода НЛО видели. Кто-то даже успел сфотографировать. Журналистскую братию, которая уже набила оскомину, восхваляя перестройку, охватил психоз от сенсации. Едва не каждая газета бросилась публиковать впечатления очевидцев. Один на балкон вышел и увидел, другой на остановке стоял, третий на машине ехал, четвёртый на рыбалке голову запрокинул, чтобы влить в себя рюмаху, и чуть водку не разлил от неожиданности...

Всё бы хорошо с этими статьями, но все мы прекрасно помнили следующий факт. Может, за год-полтора до этого в газете «Труд» была опубликована большая статья о том, как пассажирский самолёт «Аэрофлота» Ту-134, следовавший по маршруту Тбилиси–Таллинн, под Минском ночью вдруг оказался в зоне действия неопознанного летающего объекта. НЛО в сторону земли направил тонкий луч, ставший затем конусообразным, и высветил на земле дома и дороги. Потом луч повернул в сторону самолёта. Члены экипажа видели то светящуюся точку, то шар в пол луны размером. Он поднимался, опускался, нырял вправо и влево, замирал, выпускал лучи. Эти странные метаморфозы видел экипаж, пассажиры. В этом же коридоре другой Ту-134 шёл из Ленинграда в Тбилиси. Пилоты тоже увидели продолговатой формы летающий объект над Белоруссией. НЛО очертил лучом на земле прямоугольник десять километров на пятнадцать и прошёл с резкими поворотами по его периметру... Добрых полчаса НЛО видели самолёты... Статья пользовалась бешеной популярностью. Газету рвали из рук. Наше управление тоже зачитывалось сенсационным материалом. Это случилось уже после смерти Андропова во время короткого правления Черненко, перед перестройкой Горбачёва.

Но вдруг к нам приходит приказ о запрещении в открытой печати темы НЛО. Не так категорично, «не пущать!» и всё тут. С иезуитским вывертом. Если ты написал статью о НЛО, согласуй её с Академией наук СССР, «Аэрофлотом»,

министерством гражданской авиации, министерством обороны, генеральным штабом, рядом ещё каких-то научных учреждений. Наконец получи разрешение последней инстанции – Главлита. Пройдёшь этот частокол, тогда Обллит поставит свой штамп «в печать», а потом и «в свет». По катастрофам требовалось разрешение на публикацию чуть не из ЦК КПСС. Факт пролёта НЛО можно было освещать без визы ЦК КПСС. Но от этого не легче, если бы кто попытался...

Нам сказали, что редактор «Труда» снят со своей должности, исключён из партии, коллеги в Главлите, допустившие НЛО до «Труда», потеряли работу. К нам приходил кагэбэшник, разъяснял: якобы американцы на основе этой статьи сделали вывод, что СССР испытывает новое лазерное оружие. Главный пафос его выступления – нлоошная тема не для открытой печати. И ещё добавил:

– Вы тут трудитесь, разрешаете всё, а я возьму любую газету, давайте любую, и многое вычислю. Вот смотрите.

И достаёт не местную газету, а номер «Правды», что с собой принёс, и начал рассказывать, тыча пальцем в полосы, какие секретные сведения можно накопать из этого номера. Или смикитить умному человеку, изучая опубликованную информации, в какую сторону вражеской разведке следует рыть.

– Так надо позакрывать все газеты, – сказал я, – и нам меньше работы.

– А зачем тогда вы вообще будете нужны? – резонно ска-

зал кагэбэшник.

На что я ему задал вопрос, который давно нас цензоров интересовал:

– Почему нельзя показывать в газетах трассы дорог районного значения, пусть даже они не отмечены в атласе?

– В военное время, – браво ответил кагэбэшник, – они могут быть использованы для посадки в наш тыл вражеских самолётов с военной техникой и живой силой.

Ответ вызвал у всех нас улыбки. Мы-то ездили по этим дорогам в командировки, прекрасно знали, ни один самолёт не сядет на данную «полосу», ему верная крышка обеспечена вместе с военной техникой и живой силой.

– В таком случае, – говорю, – наоборот нужно чаще показывать эти трассы, пусть садятся на свою погибель.

За что получил очередное напоминание от Екатерины Михайловны о моем выговорёшнике.

И вдруг НЛО над Омском. В общем-то безобидный объект, никого под аварию не подводил, никого с собой не забирал, посевы не портил, электроприборы из строя не выводил. Журналисты, окрылённые только что задувшими ветрами перестройки, бросились толпой освещать жареный факт, писать репортажи, интервью с очевидцами... И потащили к нам свои творения. Мы им:

– Всегда пожалуйста, разрешим к печати, но вначале согласуйте с Академией наук, «Аэрофлотом», министерством обороны...

Чего только не наслышались о себе и своей работе... Любитель поэтесс и женской поэзии Иванов тоже разразился статьёй в своей многотиражке. И попал на подпись ко мне. Бил себя в грудь, рвал на груди рубаху, брызгал слюной:

– Я же видел его собственными глазами, не по рассказам, не по слухам, сидел с сыном на озере, и вдруг светящийся шар...

Показывал рисунки таинственного летающего объекта. На что я тупо повторял:

– Публикация возможна при наличии согласований.

И перечислял непроходимый «частокол»: Академия наук, Минобороны...

– Вы что издеваетесь? Вы же прекрасно понимаете, эти инстанции невозможно пройти даже сумасшедшему.

Последнее, что бросил в сердцах:

– Лучше бы вся ваша организация по вагонам суп разносила!

Я парировал оскорбительный выпад: Что-то в вашей газете давно ничего женско-поэтического не публиковалось. На это разрешение в Академии наук и министерстве обороны не надо...

Ликвидация

Но пришли и к нам перемены, даже посыпались. Кардинальные причём. Вдруг Шабарова отправили на пенсию. Начальником прислали Василия Васильевича Титарева. В обкоме он имел хорошую поддержку, когда возникла проблема с его трудоустройством, выбор пал на место Шабарова.

Екатерина Михайловна ходила туча тучей, её мечта со стула замши впрыгнуть в кресло начальника приобретала перманентный характер, Титареву до пенсии пять долгих лет. До прихода Титарева Екатерина полтора месяца ревностно исполняла обязанности начальника управления, по привычке к своему положению, начала покрикивать на нас. И снова собирай вещи и пересаживайся из удобного кресла Шабарова на жёсткий стул замши.

Новый начальник до Обллита занимался культурой. Звали мы его за глаза Вась Вась. Маленький, крепенький. По утрам бегал от инфаркта. Трусцой тюх-тюх, тюх-тюх, тюх-тюх по набережной. Лысина на ширину лба во всю голову. Лишь по бокам кустилась растительность да на затылке полоска – остатки прежней шевелюры. Лысина, лицо в спокойном состоянии имели стойкий красный цвет (незнающий мог подумать: Вась Вась постоянно под градусом), при волнении обширная безволосая часть головы вспыхивала багровым. По натуре скрытный. Когда-то нашёл удобную форму скром-

ности. Скромность бывает от скромности, а есть от незнания. Вась Вась ухитрялся скрывать свои неказистые интеллектуальные способности. В номенклатуру попал по культурной линии. По молодости занимался фольклором, даже выпустил книжку, первая часть которой претендовала на исследовательский пафос, вторая – сборник частушек, которые насобирал в фольклорных экспедициях. Частушки вялые, беззубые. Частушка хороша, когда в ней удаль, размах, ядрёные повороты, игра словом... А тут размазня...

Он долго вместо «Обллит» говорил «Облит». Потешно было слушать на наших совещаниях, когда он многократно «обливал».

Шабаров не допускал «воспевание патриархальщины» и «распространение космополитизма», для Титарева красной тряпкой были декаденты. Он поражался, до какого произвола дошла свобода перестройки.

– Как это можно печатать писателей-декадентов?! – в ужасе загорался Вась Вась. – Они же белогвардейцы!

Вспыхивал красным светофором и грозил кому-то пальцем:

– Белогвардейцы!!!

Любая новизна его пугала, настораживала. По возможности старался такие вопросы отложить, отодвинуть. Чиновничьи сферы научили семь раз мерить и не резать. Часто звонил в Главлит, узнать своё мнение по той или иной неясности. Чем раздражал москвичей. Для них лишний раз на-

прячься – это убийство.

Отношения у меня с ним сложились нормальные. Екатерину Михайловну Вась Вась побаивался. Соперник как-никак. Я таковым не являлся. Титарев, пытаюсь учиться, ходил со мной на проверки. В работе Обллита ничего не соображал. И крайне туго шло освоение специфики профессии. Ездил в Москву на стажировку, но профессиональнее не стал. Сталинский солдат Занозина искореняла револьверщиц из газет, Вась Вась пошёл того дальше. Однажды вызывает. Уже месяца три сидел в кресле Шабарова. Захожу, Вась Вась ходит из угла в угол, пунцовый, как пионерский галстук. У него в кабинете стоял длинный стол для заседаний. Хорошо помню, сам эту мебель таскал, двадцать четыре стула размещалось по сторонам стола. Захожу в кабинет, весь стол покрыт газетами, в каждой пламенеют подчеркивания красным карандашом. На столе, за которым сидел Вась Вась, такая же газетная картина. Багровый Вась Вась испуганным голосом шепчет:

– Что ж мы наделали? Что ж мы натворили?

Его повышенная краснота ввергла меня в беспокойство. Думаю: где это умудрились вляпаться? И столько газет, значит, не один прокол. Возможно, и я приложил руку.

– Что такое, Василий Васильевич?» – спрашиваю.

Он тычет пальцем в наш «Перечень», что лежал на его столе:

– В «Перечне» написано: запрещено разглашать дислока-

цию воинских частей, а у нас, смотрите! Во всех этих газетах мы говорим о местоположении медико-санитарных частей. МСЧ-2, МСЧ-1 в Октябрьском районе, МСЧ-10 в Центральном. В газетах фигурируют МСЧ в Куйбышевском, Первомайском районах. Даже улицы, на которых стоят указаны.

Я остолбенел. Он даже из контекста не понял, что подчеркнутые им части не те, где пушки, ракеты, танки с истребительной авиацией.

– Василий Васильевич, – объясняю доходчиво, – медико-санитарная часть или МСЧ, это вовсе не воинское подразделение, это часть от целого. Есть общая система здравоохранения, а это её часть. Только в этом смысле часть, не более того. Ничего военно-секретно-огнестрельного.

Вась Вась не возразил, молча выслушал меня, но я понял: не поверил.

Месяца за два до этого прошёл День медицинского работника, журналисты не пожалели своих талантов на праздничную тему, написали про многие МСЧ... Представляю, как он мучился, терзался несколько недель, обнаружив МСЧ, это подсудное «нарушение» в какой-то статье. Полез в другие газеты (мы их хранили год, после того как подписали «в печать» и «в свет»). Накопил несколько десятков номеров с крамолой. Они вышли в период его руководства Обллитом. Но не отважился сразу спросить у кого-нибудь из нас, боялся показать себя дураком, расписаться в собственной некомпетентности. И в то же время мозги сверлила страшная мысль:

а вдруг допустили криминальный ляп? Не исключаю, после разговора со мной, набрался храбрости и позвонил в Москву в Главлит. Вот уж там поохотали.

Вскоре после этого потрясения произошло ещё одно, не менее экстремальное. Наше здание строилось до революции, изначально было трёхэтажным, но в двадцатые годы «подросло» на этаж. До Обллита в нём располагались квартиры больших начальников, в частности, жил прокурор области. Наверное, он не выдержал дырявой крыши (как это так – на прокурора и вдруг капает!) и сбежал. Кровлю над Обллитом латали каждое лето, герметичнее от этого не становилась. Потолки сырели, трескались. Их тоже с завидной периодичностью подмазывали, подштукатуривали. Когда штукатурку в каком-нибудь месте раздалбливали, были видны речки дранки... Историческое здание, с исторической технологией штукатурки.

Кабинет начальника располагался в угловой части, одно окно выходило на Омку, второе – на памятник Ленину.

Перед этим происшествием у нас прошёл ремонт, очередных слоёв штукатурки намазали, и вот сижу я на приёме, и вдруг чудовищный грохот за стеной. Впечатление – гранату бросили в кабинет начальника. Я вскакиваю. У нас было принято стучаться к шефу. Пренебрегаю правилами хорошего тона, без стука врываюсь и вижу чудовищную картину... Столешница стола заседаний, того самого на двадцать четыре стула, столешница из длинной горизонтальной плоскости

превратилась в огромную букву «V». Края стола вздыблены, середина провалена, а во впадине огромный кусок штукатурки. Гигантский пласт оторвался от потолка и рухнул с пятиметровой высоты.

Стол Вась Вася примыкал к столу заседаний. Камни штукатурки не долетели него, но падение породило облако белой пыли. Оно накрыло Вась Вася. Он контужено сидел в кресле за белым от пыли столом. Сам весь белый – лысина, лицо, ресницы. Пиджак (грудь, лацканы, плечи, рукава), галстук – всё будто мукой запорошено. Глаза уставились в одну точку. Памятник и памятник. Я даже подумал: а жив ли? Говорю:

– Василий Васильевич, что случилось?

Он, не поворачивая головы ко мне, показал пальцем на сломанный стол:

– Это надо убрать.

Был натурально контужен. Среди тишины (толщина стен не пропускала уличного шума) вдруг в миллиметре от тебя пролетает потолок и со страшным грохотом обрушивается на полированную поверхность стола.

После этого каждый раз, заходя в свой кабинет, Вась Вась с опаской смотрел на потолок.

Он не расстроился, когда пришлось отпускать в свободное плавание газеты. Рассчитывал: побалуется свободой, а потом всё вернётся на круги своя. А так меньше хлопот и волнений. Сиди и жди пенсию, ни за что не отвечая. Мы отпускали газеты одну за другой. По их заявлению. Писали,

к примеру: «Просим освободить газету «Заводская жизнь» от предварительного контроля с такого-то числа». Начальник накладывал резолюцию: «Освободить». Вот это свобода: сам выбираешь – нужна цензура или нет. Некоторые газеты до последнего цеплялись за цензуру, боялись брать на себя ответственность. Редактор многотиражки сельхозинститута, в возрасте дама, хваталась за голову: «Нельзя молодёжи без контроля, они скатятся до похабщины в газете, порнографии!» В конце концов осталась только «Омская правда», «Вечёрка» и молодёжка. Потом и их отпустили. Последующий контроль оставался, но выходили без предварительного.

Первыми выставили нас радио и телевидение. Где-то весной девяносто первого года. Приезжаю на радио, иду по коридору, на ходу достаю ключ от нашего кабинета, думаю: сейчас быстренько здесь справлюсь и слиняю в видеосалон, посмотрю «Пролетая над гнездом кукушки» Милоша Формана. Видеосалонов, как грязи, наоткрывалось на волне той самой «свободы»: в подвалах, в красных уголках общежитий, во Дворцах культуры. Чаще гнали боевики, пошленькую эротику и другую импортную шнягу. Изредка попадалась западная классика Феллини, Бергман, Поллак. В предвкушении отличного фильма я с ключом наготове подхожу к нашему кабинету... А ключ можно выбрасывать. На двери висит чей замок. Натуральный амбарный. Радийные журналисты скрутили любимым цензорам пудовую фигушку. Получите, дескать, за всё хорошее... Могли бы позвонить, сообщить,

нет, не поленились – нашли килограммовый замок (можно вместо кистеня использовать) и шарахнули нам по кумполу: нате. Стою, размышляю, то ли идти к их главному начальнику, то ли возвращаться в Обллит. Смотрю, чешет по коридору зав информационным отделом, был такой Аркадий Михайлович, увидел меня, оживился.

– Всё, – радостно помахал руками, – порулили и хватит. Теперь мы сами управимся.

Сами так сами. Я позвонил с вахты Титареву, доложил, как нас радио обломало. Он бодреньким голосом:

– Не хотят и ладно.

Прозвучало как баба с возу и нам с кобылой легче. Меня такое зло взяло: а иди оно всё по кочкам.

– Василий Васильевич, – говорю открытым текстом, – я тогда пойду в кино.

Он в некоторой растерянности:

– Ну, идите.

И я двинул, плюнув на рабочий день, смотреть Милоша Формана.

Радио волевым замочным решением упразднило цензуру, однако из Москвы указаний по отмене контроля не было. Значит, Обллит должен его осуществлять. Дежурство на радио и телевидении превратилось в сплошной кайф. Выпадает тебе, берёшь его на дом и неделю смотришь местные программы телевидения и слушаешь областное радио. Цензорская задача все ошибки зафиксировать, сделать вычерки,

затем внести их в отчёт. Ничего мы не находили. Слушали вполуха, смотрели вполглаза. Одним словом, дурака валяли.

Мне попало такое дежурство на дни, когда вдруг образовался в Москве беззубый ГКЧП – государственный комитет по чрезвычайному положению. Захотели товарищи взять власть в свои руки. Но потенции не хватило. Весь переворот-недоворот просидел я дома и был счастлив. Екатерина Михайловна попала в переплёт, в «Омской правде» дежурила.

– Запрუსь, – рассказывала отчаянная казачка, – на «Омской правде» в нашем кабинете и плачу: что делать?

Материалы прислали и революционеры ГКЧП, и контрреволюционеры под командованием Ельцина. Редактор «Омской» не знал к кому примкнуть. В «Вечёрке» редактор подрался с ответственным секретарём, оказались по разные стороны баррикад. Потом мне рассказывали: директор одного Омского завода быстренько провёл два совещания с фиксацией своих речей на магнитофон. Одно в горячую поддержку ГКЧП. Другое – с горячим осуждением действий путчистов. Подготовился к любому повороту событий. Редактору «Омской правды» впору было рубить себя на две части. Да не выпустишь два взаимоисключающих номера. И наверху не спросишь совета. Каждый выживал в одиночку. Екатерина Михайловна встала нараскоряку. Редактор и без её штампа, без её подписи выпустил бы газету. Штамп жизненно важен был ей самой. Поставить на единственно пра-

вильный вариант газеты и не штамповать другой. А кто скажет: какой вариант победный? ГКЧП, конечно, за прежний порядок. Значит, будет жива цензура. Но вдруг они проиграют. Екатерина попыталась посоветоваться у Вась Вась: чьей стороны держаться? Он сначала брякнул:

– Ставь штамп хоть кому!

И тут же спохватился:

– Не ставь никому!

Очень конкретная позиция.

Председатель нашего областного совета нардепов принял сторону Ельцина. «Омская правда» не посмела послушаться, вышла против ГКЧП. Екатерина Михайловна благословила её цензорским штампом. И страшно радовалась, что попала в точку.

– Роман Анатольевич, – позвонила мне на радостях, – мы выиграли!

Мы ещё не знали, что скоро не нужен будет ни штамп, ни весь Обллит.

Разделавшись с бумажным тигром ГКЧП, Ельцин закрыл компартию. Наш обком КПСС был опечатан. Я захожу к Титареву. Он бегаёт по кабинету, глубоко пурпурный от щёк до границы лысины на затылке, и повторяет:

– Какая беда! Какая беда!

Думаю, как человек страдает: обком партии опечатан, партию, его родную партию, которой отдал всю свою жизнь, закрыли.

– Какая беда! Какая беда! – сокрушается, только что руки не ломает.

– Василий Васильевич, – говорю, – да не убивайтесь вы так! Всё будет хорошо!

– Да где ж хорошо! – трагическим голосом, со слезой говорит. – Понимаете, обком опечатали, а у меня там охотничий билет и четыре пачки патронов. Всё опечатано. А на днях открытие охоты!

Я думал, он не находит себе места по факту отмены партии как руководящей и направляющей силы...

А вообще времена были паршивые. Редакторы тряслись: что будет завтра? Мы не знали своего будущего. Москва ни «да», ни «нет» не могла сказать. Цензоры стали подыскивать работу. Я начал подрабатывать юрисконсультom.

Ликвидировали Обллит в один день. В начале 1992 года из Москвы пришёл приказ на расформирование. Приказ я видел, его пафос был лаконичен: закрыть. Без деталей. Но игра в подполье продолжалась. План ликвидации Вась Вась получил устно. Почти как в кино про фашизм, когда немцы, убегая под натиском советских войск, уничтожали компрометирующие документы.

Года за четыре до этого Обллит обзавёлся огромной машиной для резки бумаги. Тяжеленная. Впятером с Шабаровым и ещё тремя помощниками еле затащили на четвёртый этаж, все кишки надорвали. По схеме уничтожения Обллита мы утром как включили машину, так она весь день на-

пролёт работала без остановки. Её безжалостными ножами превратили в бумажную труху все наши документы. Секретные приказы, инструкции, личные дела, вплоть до удостоверений. Были цензоры и нет их. В тот день наша святая святых – спецчасть – утратила свою секретность. Несгораемые шкафы сиротливо опустели. Ни одной бумажки, даже таблички со шкафов были переработаны. Книги, изъятые из библиотек (работы Сталина, работы Ленина, что Ильич опрометчиво написал совместно с «врагами народа» Бухариным, Каменевым, Зиновьевым) не резали, так выбросили. Кроме этого у нас хранились полные собрания сочинений Ленина и Сталина. И это на свалку истории...

Вась Вась пробежался по нашим комнатам, заглянул в каждый ящик стола:

– Всё уничтожаем до последней промокашки.

К вечеру комната посетителей была завалена мешками с результатами резки. Но даже эти мешки на ночь не оставили. Вась Вась оперативно договорился с машиной, мы с ним загрузили вчерашнее содержание Обллита, и он повёз куда-то на сжигание. Организация исчезла в один день. Просто мистика... Ничего не осталось, что называется, ни промокашки.

Вась Вась уехал с мешками, я поднимаюсь в Обллит за сумкой, захожу в комнату редакторов, слышу кто-то плачет. В спецчасти у пустых шкафов сидит начальник спецчасти Мария Игнатьевна Карпина, наш солдат невидимого фронта,

и плачет.

– Вы что, Мария Игнатьевна?

Она сквозь слёзы:

– Я здесь, Роман, всю жизнь проработала.

Мария Игнатьевна небольшого роста, сухонькая, мучительно некрасивая. Будто природа дала сбой на ней. Сделала на одном дыхании Нежную или красавицу Гаранину, а тут сбой. Да не один. Всё на месте. И всё какое-то... Со сбоем. Глаза маленькие с белесыми короткими ресницами, нос наоборот большой, мужской. Длинный, острый. Лицо вытянутым книзу треугольником... Совершенно непривлекательная. Была на четыре года старше меня. Одевалась однообразно, на фоне наших женщин выглядела серой мышкой. Жёсткая в отношении документов, хотя по натуре добрая. Не один раз могла меня заложить... Первый мой серьёзный залёт... Я только-только получил допуск к секретным документам. Шабаров поручил Екатерине ввести меня в азы профессии. Выдали мне настольную книгу цензора – «Перечень сведений, запрещённых к открытой печати». С индивидуальным номером книга. У каждого цензора под отдельным номером. «Перечень» – это наш букварь, наша азбука, наши большие и малые энциклопедии. «Перечень» включал в себя сведения, которые ни под каким видом не должны попадать в печатную продукцию, звучать в электронных СМИ. Мы должны отлавливать их и калёным железом вытравлять со страниц газет, книг, журналов... Большая, характерного

цвета – ярко красная – книга страниц на двести. Твёрдые корочки, добротнo изданная. В чужие руки попадать ни в каком случае не должна. Всё в одной книге не учёшь, жизнь течёт, секретов прибавляется. Каждый месяц приходили бумаги по дополнению, корректировке «Перечня». И мы прямо в него вносили все изменения параграфов и пунктов, в соответствии с поступающими документами. В сумме целая гора документов. У каждого редактора был свой комплект, в своей папке. Сдавали её в спецчасть. Когда ехали работать на участок, скажем, в «Областную правду», там для хранения папки с секретами был специальный сейф.

И вот я зелёный-зелёный редактор Обллита, ещё крупинки профессионального пороха не нюхал, с чем едят хлеб цензора не знаю, в конце дня собираю в папку ворох записанных на меня документов. И сердце обрывается, спина холодеет, душа летит в пятки – «Перечня» нет. Ни на столе, ни под столом, ни в ящиках... Сделал скучающий вид и пошел по управлению. Украдкой от коллег заглянул во все углы – вдруг лежит мой «Перечень» и молчит. Не лежит, не молчит, не мычит. В туалет с ним не ходил, в другие места тоже. За утрату секретного документа могут и к уголовной статье подвести. Мало того, что с выговором за неблагонадёжность пришёл, без году неделю проработать не успел, как вопиющий прокол. Может, кто-то украл? А вдруг КГБ таким образом решил отомстить? По «Перечню», конечно, трудно что-то конкретное шпиону узнать, но некоторые болевые точки

можно предположить.

Ломаю я голову. Не было никого, когда меня Екатерина стажировала. Часа полтора учила работе. И всё. Куда ему деваться? Посидел я и решил пока не докладывать, выждать, а вдруг найдётся. По инструкции надо было сразу доложить в спецчасть, Шабарову, но тут я изменил себе, не стал лезть на рожон. Папку собрал, печатью своей опечатал, маленькая дюралюминиевая с цифрой семнадцать, сдал. Папки проверяли от случая к случаю. Раз, может, в месяц. Два последующих дня прошли в напряжении. Всё из рук валилось, в голову ничего не лезло, одна мысль: где «Перечень» и что делать? Ругал себя, что дёрнуло сунуться в эту чёртову цензуру, лучше бы к какой газете прибиться. Ночью спал урывками, жена ругалась:

– Что ты крутишься? Спать не даёшь!

Будешь крутиться, когда нары корячатся.

Потерял «Перечень» в понедельник, в четверг Мария Игнатьевна звонит:

– Зайдите в спецчасть.

Иду и думаю: вот и пришёл мне конец. Захожу, она двери за мной закрывает и говорит:

– Роман Анатольевич, где ваш «Перечень»?

У меня почему-то сразу от сердца отлегло. По тону, каким задала вопрос, по её виду, понял – нашёлся. Это главное. Ну, выговор дадут, ну, выгонят, это всё равно не тюрьма, я уже на зону собирался.

«Перечень», – говорю, – у вас!

– А как вы узнали?

– А вот такой я проницательный.

Получилось, когда Екатерина меня стажировала, она за-мела оба «Перечня», свой и мой себе, в папку. Торопилась куда-то и сгребла. Два дня в папку не заглядывала, пропадала на партконференции. Мария Игнатьевна, делая плановую проверку, папку замши открыла и обнаружила.

Могла бы дать ход делу, не стала. Даже начальнику не до-ложила. А потом мы с ней в одной группе ездили в Чехосло-вакию, когда я уже стал выездным. Мне предложили горя-щую путёвку, я подумал и согласился. Надо возвращать себе реноме советского туриста. Шабаров за меня где надо слово замолвил. И я поехал. Ничем не торговал. Две бутылки вод-ки сбыл, но это был практически официально разрешённый «бизнес» советского туриста. Водку везли все. Но я знал, что в Чехословакии есть валютные магазины «Тузексы». После неудавшейся демократической революции 1968 года милли-оны чехов поехали на заработки в капстраны, стали посылать оттуда родственникам валюту – доллары, дойчмарки ФРГ, – и в Чехословакии получили распространения валютные ма-газины для аккумуляции этих денег государством. Где что только не продавалось: от «Мерседесов» до жвачки. И что самое интересное: кроны разрешалось менять на валюту без всяких заморочек с предъявлением документов. Бралась ка-кая-то минимальная комиссия. Что я и сделал. И тихонько

подсказал Марии Игнатьевне. Она поначалу колебалась. Но потом поняла: всё законно. Джинсы купила, кофточки. Основная часть группы по незнанию у спекулянтов брала джинсы. Вышло почти в два раза дороже, ушлые чехи товар приносили в гостиницу, мерить приходилось в нервной обстановке. В каком-нибудь номере, толкаясь, парни и девушки поспешно раздевались для примерки штанов, не стесняясь друг друга, чего уж тут. Потом были недовольные, не то купили... Кто-то вообще в подворотнях брал...

Только парочка супругов из нашей группы знала о валютных магазинах. Они ехали целенаправленно. Чем-то, видимо, торгонули в Чехословакии, отоварились на сумму гораздо большую, чем меняли. На обратной дороге распихивали по группе, чтобы провезти через границу. Мне пытались всучить кроссовки. Наотрез отказался. Не хватало попасть в чёрный список. Лишнего ничего не вёз. Тут совершенно чист. Единственное в Чехословакии коварной сливовицы пару раз здорово напился, до упаду. В этом плане имелся прокол. Позже узнал, у Марии допытывались, как я себя вёл, она сказала: нормально. Не выдала.

По работе Мария была въедливой, придирчивой. Несколько раз мы с ней цапались. Будучи бессменным профсоюзным лидером, доставала поручениями. Кстати, выйдя из партии, я вышел и из профсоюза. В заявлении написал: – Не желаю быть в режимно-секретном профсоюзе. Но, в общем-то, Мария была хорошим человеком.

Года за три до перестройки сошлась с Лёней Самойленко, журналистом. Он относился к сильно пьющим. Где только не работал: в «Омской правде», в молодёжке. Выгоняли, снова брали... Писал хорошо... Работал запойно (мог за ночь на полосу отличный очерк написать) и пил азартно. Однажды я был свидетелем картины. В Дом печати захожу, поднимаюсь по лестнице, навстречу Лёня спускается, пьяный до остекленения, и вдруг падает головой вперёд, лицом вниз, как поражённый в сердце, и катится по ступенькам... Лицо в кровь, очки вдребезги... Я его пытаюсь поднять, он от меня уползает... Лёня был женат, но жена в конце концов такого главу семьи выгнала из дома. А Мария приняла. Лёня был старше её лет на десять. Любила его отчаянно. Даже внешне расцвела. Прежде ходила с маской официальности на лице, здесь появилась материнская озабоченность. В обеденный перерыв бегала по магазинам:

– Лёня так любит сочни, а в кулинарии только днём бывают, после работы придёшь – нету.

Шепталась с Екатериной, та классные салаты консервировала на зиму.

– Лёня, как маленький ребёнок, – счастливо рассказывала о слабости мужа, – может литровую банку салата из перца, морковки, лука за один присест умять...

Лёня рядом с ней остепенился. Не совсем уж отказался от бутылки. Случалось, уходил на неделю в пике, но за те два с половиной года, что жил с Марией, может, раза три срывал-

ся... Был ядовитым на язычок... Приходя к нам, мог с коридора начинать громко спрашивать, якобы читая на двери вывеску, где было начертано «Обллит».

– Кто здесь облит? Кого чем облили-окатили? Кто в мокрых штанах сидит?

Я летом ходил в тёмных очках с диоптриями. Он зайдёт:

– Ну, цензура, ты даёшь стране угля! Совсем от жизни отгородились! Очёчки-то сними, посмотри в глаза честному народу! Или совесть проснулась? Стыдно стало?

Марии неудобно, тянет его за руку:

– Лёня, ну что ты мешаешь людям работать!

– Чё они работают? Это же душители! Слова живого не дают молвить! Работнички ети их в душу!

Умер он мгновенно. Поехал в совхоз по заданию «Омской правды», материал на очерк собирал, зашёл в коровник и упал лицом в навоз... Мария страшно переживала эту смерть. У гроба сидела без слезинки и чёрная лицом... Через год после смерти Лёни забеременела, родила дочь и назвала Линой, отчество записала «Леонидовна».

Наверное, с месяц прошло после его смерти, я зашёл в спецчасть, она плачет. Стал успокаивать. Она сквозь слёзы:

– Пускай бы его парализовало, пусть бы лежал пластом, я бы его кормила, ухаживала за ним, только бы жил, почему такая несправедливость, ведь я так его люблю.

В Обллите Мария работала с восемнадцати лет. Начинала секретаршей. Приехала из глухой северной деревни, из Те-

вризского района, всего боялась. Когда мы были в Чехословакии, раз едем на автобусе, рядом сели, она вдруг ударилась в весёлые воспоминания. Начальник, принимая её, вчерашнюю десятиклассницу, на работу, сказал по-отечески:

– Ничего, Маша, не робей, пооботрёшься, поднатаскаешься.

Она в слёзы:

– Я не такая!

– Что, значит, «не такая»?

– Не из гулящих!

– При чём здесь гулящие?

– Вы же сами говорите «поднатаскаешься».

Велик русский язык.

Для неё закрытие Обллита было катастрофой... Двадцать пять лет проработала у этих шкафов. И вот они пустые, следа не осталось от всего...

Мы ещё месяца три после ликвидации получали деньги. Вась Вась составил график дежурств. Приходили по двое и сидели в комнате редакторов, тупо уставившись друг на друга. Не осталось ни одного стола. На шесть комнат два колченогих стула. Остальную мебель мы растащили по домам. Была роздана бесплатно. Мне досталась антресоль от шкафа, четыре стула из кабинета начальника. На дежурстве мы выдерживали максимум до обеда. Но никто не увольнялся. Деньги платили хорошие.

Как-то в это время столкнулся нос к носу с Ивановым в

Доме печати.

– Ну что, – съехидничал он, – теперь всем Обллитом движете на железную дорогу в разноску?

Даже, собака серая, знал терминологию вагона-ресторана. Я в тот раз не нашёл достойного ответа. Но жизнь нас ещё столкнёт.

Титарев палец о палец не ударил для нашего трудоустройства. Раз слышал, он кому-то докладывал наверх по телефону:

– Да-да мои все устроены, я всё сделал.

Врал беззастенчиво. Никому не помог. Все устраивались, как могли. А сам слинял в городскую администрацию, каким-то помощником.

Я пытался по юридической части найти работу, сразу не получилось.

Думаю, где-то в журналистках верхах пришла идея создания в Омске «Региональной инспекции по защите свободы печати и массовой информации», пронюхали, что в Москве создано головное ведомство, значит, надо организовывать отделения на местах. А руководителя делать не из чужаков, своего брата журналиста ставить. Выбор пал на Балабанова. Он работал в «Вечёрке». В своё время пришёл в газету с улицы. Без образования, но хватка была. Двигала мечта о писательской славе. Рассчитывал поработать в газете, разогнаться, так сказать, а дальше перейти к масштабным полотнам – романам и другим эпопеям. По молодости был тонким, звон-

ким и бегучим, носился по Дому печати, только пиджак заворачивался, но быстро потяжелел. И фигурой разжирел, и писать стал, что камни ворочать. Женился удачно, на журналистке. Постарше, но уже с именем в городе. Балабанов заведовал информационным отделом в «Вечёрке» перед уходом в «Инспекцию...»

Задача «Инспекции...» была следить за соблюдением «Закона о средствах массовой информации». Сам закон рождался ещё в советское время при Горбачёве в недрах Главлита. Нам рассылали предварительный текст, мы давали свои замечания и предложения. Кстати, многие были внесены. А провели закон в жизнь юристы-демократы ельцинского призыва.

Балабанову кто-то насоветовал меня пригласить в «Инспекцию...» Я подготовил все документы, «Закон о средствах массовой информации...» знал, в юридических вопросах разобраться труда не составляло. С моей подачи Балабанов Нежную взял в «Инспекцию...», Марию Игнатьевну Карпину, «солдата КГБ».

Работала была не пыльная: регистрировали новые газеты, следили за соблюдением тематики газет. Были хитрецы, пытавшиеся зарегистрировать издание как общественно-политическое, а заниматься рекламой, бульварщиной... Регистрация газет жёлтого и коммерческого уклона стоила значительно дороже...

Балабанов железно обещал:

– Будешь моим замом.

Но прокинул. Приблизил к себе дедка, родственника жены, дал ему такие же, как мне, деньги. Отводя глаза, объяснил, дескать, потерпи, родственнику год до пенсии, для хорошего пенсионера пусть пока поработает.

При новой власти Балабанов из середнячков выскочил в номенклатуру, но, подвыпив, делал презрительную физиономию.

– Ну что эти демократы-болтуны построили, – показывал за окно, – что? Что создали? Где?

Дедок, звали его Пал Иваныч, сыграл роковую роль в карьере Балабанова. Сделался верным ординарцем шефа. Не по работе. В служебные обязанности не вникал. Зато притащить начальнику пузырь, колбасу порезать – это с превеликим удовольствием. И в Омске керосинили на пару, а уж в командировках (ездили исключительно вдвоём) отрывались по полной. Дедок из себя маленький, щупленький, но гигант выпить.

– Моя норма, – говорил, – 750 граммов.

Не врал. Примет её всю до капли на грудь и даже не покраснеет... Только лысина вспотеет, и язык развяжется по полной.

С «Инспекцией...» Омск оказался в лидерах, мы контролировали огромный регион: Тюмень, Томск, Красноярск, Кемерово... Даже столица Сибири Новосибирск прошляпила этот вопрос и оказалась под нами. Вот Балабанов с Пал

Ивановичем и ездили с проверками. Пал Иваныч намекал руководителям СМИ на местах, как лучше задобрить Балабанова, и те старались... Им закатывали банкеты, давали взятки. Балабанов чувствовал себя региональным тузом, шишкой...

Работа в «Инспекции» отличалась скукотой... Полистаешь с утра часа полтора газеты, а потом не знаешь, куда себя деть до вечера, Балабанов требовал соблюдать дисциплину присутствия. В конце концов все газеты зарегистрировались... Редко когда какая новая появится... Мы вообще с Нежной обленились, не хотелось даже подшивать газеты... У неё, похоже, возник роман на стороне. Куда-то исчезала среди дня, возвращалась счастливая. Так и хотелось сказать: – Съешь ты лимон.

Мария Игнатьевна стучала на машинке, делала левую работу... Держала нас очень даже недурственная зарплата. Шла из Москвы с завидной регулярностью, тогда как вокруг начался беспредел – шахтёры бастовали от безденежья, задержек зарплаты, оборонщики перекрывали улицы... У нас всё чётко...

Как-то сию, Нежная смылась («я тут сбегая»), откровенно клюю носом над газетой. Вдруг дверь открывается, я голову спросонья вскинул, кто-то заглянул и скрылся. Прошло секунд пять, снова дверь открывается. На пороге с изумлённым лицом давний знакомый Иванов. Он сунулся в первый раз и не поверил увиденному... Прочитал табличку на две-

ри... Иванов к тому времени бросил свою тягомотную многотиражку, работал замредактора в бульварной газетке. Стихи своей возлюбленной не публиковал, газетку больше интересовала поэзия женского тела, но, я бы сказал, и в этом жанре не ахти какое было качество. Иванов замер в дверях, на меня уставился. И всё ещё не верит своим глазам.

– Так это вы защищаете свободу печати? – спросил со страшным удивлением в голосе.

– Конечно, – говорю, – а кому же ещё её родимую защищать!

– Тогда мне здесь делать нечего! – развернулся и хлопнул дверью...

Но тут же снова заскочил:

– Вы душили свободу! Гнобили нас! Не давали глотка свежего воздуха пропустить в газету, а теперь вы защищаете свободу! Уму непостижим этот идиотизм!

И снова хлопнул дверью...

Дал понять, что видеть меня не хочет. Но судьба через пару-тройку лет приготовила нам ещё одну встречу...

В борьбе с сутяжниками

Как-то Балабанов приболел, а надо с проверкой в Новосибирск ехать, отправил меня. Без всяких банкетов поработал. На обратной дороге написал отчёт на двенадцати листах. Искусство отчётов освоил со времён работы следователем в прокуратуре, в цензуре отшлифовал мастерство. Отчитался, а тут к нам самим проверка из Москвы. Высокий чин пожаловал. После проверки Мария Игнатьевна на ушко доложила, проверяющий, читая мои отчёты, обронил:

– По-настоящему в инспекции один Роман Анатольевич работает.

Вскоре мне звонок домой из министерства:

– Роман Анатольевич, по результатам проверки предлагаем вас в резерв на должность начальника вашего отделения. Вы не против?

– Подсиживать никого не хочу, но отказываться не буду.

– Вот и хорошо, только никто знать об этом не должен.

Кто-то шепнул Балабанову. Я частенько опаздывал минут на пять-десять. Тут прихожу, все уже сидят, и начинается разбор злого нарушителя трудовой дисциплины...

Думаю, а идёшь ты лесом... Накануне позвонил редактор «Степной губернии» Славка Девятковский с предложением занять место юриста в его газете. Славка лет десять работал в «Вечёрке», надоело под кем-то ходить, ринулся в свобод-

ное плавание и создал «Степную губернию», подтянул мастеровитых журналистов, развернулся. Со Славкой мы играли в футбол. На стадионе «Красная звезда» подобралась компания любителей, два раза в неделю мы, великовозрастные дядьки (мороз ли, жара, дождь или снег), как пацаны, гоняли с телячьим восторгом мяч. Славка знал, что я юридический окончил, работал следователем... Я пошёл к нему...

А через месяц Балабанов сам с треском вылетел из «Инспекции...»

Поехал в Москву, в министерство по печати и приволокся к министру пьяным. Даже не с похмура. Всю ночь гужбанил, чуток поспал и пошёл. Министр на свете не первый год, с первого взгляда оценил состояние подчинённого.

– Вы в каком виде? – возмутился наглостью провинциала.

– В таком же, в каком и ты! – нисколько не смутился Балабанов.

От такой борзости министр затопал ногами:

– Вон отсюда, пока в вырезвитель не отправил!

На следующее утро Балабанов пошёл к министру и сразу на пороге в его кабинет бухнулся на колени:

– Простите!

В Омске по пьяни сам и проболтался, как на коленях бегал за министром.

– Больше не повторится! – с надрывом умолял.

Министр шарахался от кающегося:

– Прекратите балаган.

А Балабанов за ним, как в дурном спектакле, на коленях по кабинету. Уж как не хотелось ему возвращаться в газету, вымучивать из себя всякую белиберду и получать за это мелочёвку. Балабанов как-то признался:

– Писать – как дрова рубить. Первые пару чурок в охотку, дальше тоска зелёная...

Ничего-то больше делать не умел. Так сладко было в «Инспекции...» на хлебной должности... И власть – он начальник региона, где вся хвалёная Западная Европа с головой разместится и ещё место останется... В мыслях видел себя высоко-высоко, и вдруг катастрофа. Министра коленопреклонные позы подчинённого не разжалобили, выдворил Балабанова за дверь и тут же издал приказ об увольнении.

А я стал осваивать новый вид деятельности. Спасибо журналистам. Вырвавшись на бесцензурный простор, ошалев от свободы, они резвились в газетах, кто во что горазд. Это раньше об НЛО не напиши, о катастрофе ни строчки, сейчас своя рука с авторучкой владыка, что хочу, то и наворочу – из мухи слона и какой хочешь зоопарк. До поры до времени сходило с рук. Но помаленьку начало прилетать. Писать-то ты можешь всё, что бы ни взбрело в твою воспалённую голову, даже гостайну – цензуры нет. Но за написанное изволь отвечать. Не все антигерои газетных полос безропотно сносили чернуху в свой адрес. Журналисты или сами с усами, где-то разнюхают, или им сольют информацию, они быстрее-быстрее в дело, чтоб другие издания не перехвати-

ли. Некогда факты проверять. Написанное хоть пером, хоть компьютером не вырубишь топором, но получить по башке за публикацию можно. Не обязательно буквально, хотя и такое случается. Посыпались гражданские иски о возмещении морального ущерба за газетные измышлизмы. От отдельных граждан, чья честь и достоинство затронуты, от юридических лиц, чья деловая репутация страдает. Народ наш мелочиться не любит, судиться так судиться, иск как забабашат на неподъёмную сумму. Не отмахнёшься. И доказывать в суде, что ты не верблюд, приходится ответчику. Истцу достаточно заявить, что написанное в газете не соответствует действительности, порочит его честь и достоинство, и закрутилась машина против газеты... Славка один раз адвоката нанял, второй и первым из редакторов смекнул: дешевле держать опытного специалиста в штате редакции, чтобы отбивался в судах. Так я стал первым юристом в городе, специализирующимся на тяжбах газетчиков. Славка положил мне сначала жалованье, как в «Инспекции...», через месяц увеличил в два раза, через полгода – в пять.

Как-то приходит в редакцию «Степной губернии» мужчина, сбрасывает рубаху, мать честная: на спине места живого нет – исполосован. Рассказывает жуткую историю, его затолкали в машину, увезли за город и высекли нагайками казаки под руководством диакона Василия Волкова. Отхлестали на совесть. Потерпевший, господин Загоруйко, рисует картину, предшествующую экзекуции. Он был регентом в православ-

ном храме, настоятель ущемлял хор в оплате, возник конфликт, регент перешёл в протестанты и забрал с собой половину хора. Диакон Волков решил проучить ренегата. Привлёк казачков, те подловили ренегата и высекли. Диакон, по словам Загоруйко, тоже приложился к спине. Потерпевший подал в суд на диакона.

Журналист Боря Кукин воспламенился при виде истерзанного нагайками. Включает диктофон, приглашает фотографа. Получаются эффектные кадры. Боря расстарался в статье, вплоть до черносотенцев вспомнил, которые будто бы казаков использовали в своих целях. Диакона Волкова выставил соответствующим образом.

Славка Девятковсий сокрушался потом:

– Как я прокололся с этим материалом. Боря мозги запарил, мол, всё стопроцентно, факты железобетонные.

Дело получилось дохлым. Диакон подал иск о возмещении морального ущерба. Деньги тогда были дурацкие – всё в миллионах считалось. Но в переводе на доллары диакон требовал сто тысяч баксов за моральный ущерб. Неслабая сумма для Славки. Я кинулся искать потерпевшего, а того в помине нет. Он оказался из Краснодарского края. Какое-то время обретался в Омске, а потом исчез. Рыл я по этому делу до руды... Дошёл до миссионера Джона, что приехал в Сибирь из Канады. По-русски Джон говорил с сильным акцентом, но объяснил в приватной беседе, что правды по этому делу не найду, это была провокация против православной

церкви. Я ходатайствую перед судом о поиске потерпевшего. Делают запрос в Краснодар. Бесполезно. Уголовное дело против диакона прекращают. У меня не остаётся никаких козырей. И все факты против газеты.

Славка места не находит:

– Роман, что будем делать? У меня ста тысяч долларов нет.

Одно остаётся в таких случаях – тянуть резину. Я обжалую в прокуратуру прекращение уголовного дела. Его возобновляют. Но оно изначально бесперспективное, нет никаких улик против ответчика... Голые слова исчезнувшего истца-потерпевшего... А кто его высек – неизвестно. Может, сам себя...

В районном суде я стою на позиции: газете информацию об избиении Загоруйко слила милиция. Не Боря Куркин со слов потерпевшего, не проверив факты, написал, газета повелась на авторитет милиции...

Меня районный прокурор вызывает, открывает уголовное дело:

– Ну, что вы ещё хотите, нет никаких доказательств.

Листает дело, а я глазом кошу и не зря. Цензура воспитала способность мгновенно сканировать. Он быстро переворачивает страницы, но я выхватил нужное. В дело вклеены фотографии высеченной спины Загоруйко. А снимки не чьи-нибудь – редакционные. Но со штампом оперативно-технического отдела. Схалтурили менты. Сделали наши фотографии своими. Это на руку моей линии. В суде заявляю:

Подтверждением того, что информацию о данном происшествии редакция получила из органов внутренних дел, является следующий факт: в газете опубликован снимок, фигурирующий в уголовном деле, он был передан журналисту вместе с информацией.

Довод неплохой, да знаю: им одним суд не проймёшь. И вспомнил о Лёшке Сизове, однокурснике моего двоюродного брата Вовки. С Лёшкой я познакомился, когда ездил в студенческой молодости с пединститутскими в археологическую экспедицию. С Сизовым встречались чуть не каждый год на дне рождения у брата Вовки. Они корешили. Году в девяносто четвёртом Лёшка вдруг покрестился и стал верующим. Через брата нахожу его, и вот это удача: оказывается, Сизов с диаконом Волковым вместе учились в духовном училище.

– Он из случайных людей в церкви, – характеризовал моего оппонента Сизов. – После отмены советского атеизма таких сотни рукоположено. Даже патриарх на это сетует. Храмы восстанавливали, строили, а священников где взять на новые приходы? И набрали... Волков человек грубый, солдафонистый, не исключаю – может высечь. Или дать указание. Что в нём замечательного – это голос. Приличный бас. К церкви прибился, так как ничего толком не умеет. Подобные священнослужители – беда церкви, они её дискредитируют.

Так отозвался Лёшка о Волкове. Если характеризовать самого Сизова, он из вечных диссидентов, что не могут не ид-

ти против течения. Особенно на словах. Хоть как, но не так. Вы говорите «чёрное»? Нет, там много розового. Вы говорите «белое»? А ему сплошное зелёное. Почему Сизов не стал священником после духовного училища? Его не удовлетворяет атмосфера современной церкви. Священники, утверждает Лёшка, в своей массе только бы службу отвести, не работают с приходами, иерархи приземлённые. Начал мне втирать идею борьбы с паспортами последнего образца, вреде принятия ИНН. И паспорта, утверждает, и ИНН – всё печать сатаны. Кто безропотно соглашается с тем и другим, продаёт душу дьяволу, а значит, не унаследует жизни вечной. Патриарх игнорирует такие основополагающие вопросы. Лёшка также горячо доказывал мне, что Иван Грозный и Григорий Распутин должны быть причислены к лику святых, тогда как официальная церковь против канонизации.

Я попросил Сизова быть свидетелем в суде. Волков напирал в иске, что в церкви, где он служит, после публикации статьи среди прихожан идут разговоры, попирающие его честь и достоинство, он нравственно страдает. Нужно было железное свидетельство, что никаких разговоров среди прихожан нет, большинство из них жёлтую прессу, в том числе и «Степную губернию», не читают, следовательно, нравственные страдания Волкова надуманы. Тогда как Сизов не просто посещает церковь, где служит Волков, он знает его по духовному училищу.

Сизов согласился свидетельствовать в суде, что никто в

храме не обсуждает описанный газетой случай с Загоруйко, а Волков по своему характеру может участвовать в акции экзекуции. Я не стал раскрывать в суде, что знаю Сизова много лет. Подал судье факт знакомства со свидетелем так, будто пришёл в храм поговорить с истцом, того не застал, разговорился с прихожанином... Я специально сходил в храм, у ворот церкви стояло четверо нищих, один на инвалидной коляске, каждому дал по сумме, примерно на чекушку водки, чтобы запомнили меня. Спросил, служит ли в церкви такой-то диакон? Когда он бывает в храме?

Судья потом сказала мне в кулуарах:

– Как вам удалось найти такого свидетеля? Всё дело перевернул.

Когда диакон увидел Сизова в суде, он чуть сквозь землю не провалился. Лёшка, с завихрениями, но умница... Вовка говорил про него, мог запросто защитить кандидатскую диссертацию по истории, она была практически готова, но повздорил с завкафедрой, не ввёл того в соавторы статьи в московском журнале... И в духовном училище Сизов в богословии был на голову выше всех учащихся... Интеллектуал...

В суде я постарался оградить свидетеля от вопросов судьи, чтобы их прозвучало как можно меньше... Задавал вопросы сам, а предварительно обговорил с Лёшкой, в каком русле отвечать, чтобы закрыть остальные вопросы судьи, и она не стала бы раскручивать свидетеля... Получилось замечательно. Вчистую выиграть не удалось, но иск был удовлетво-

рён всего на сумму, равную тысяче долларов... Славка Десятковский от радости монитор перевернул, так подскочил с кресла, когда я пришёл с победной вестью. Сходу поволок в ресторан. Я вытащил газету из ямы...

С кем только не приходится бодаться в судах: с мэрией, с губернатором... С любителем поэтических женщин Ивановым тоже столкнулся на этом поприще... «Степная губерния» дала информацию о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества. И походя обвиняемую помазала грязью. Она такая-сякая и разэтакая... Обвиняемая – молодая девица по фамилии Самосадова. Впечатление о ней создавалось: изворотливая, себе на уме... Приехала из Москвы, там училась, какое-то время работала. Мошенничество состояло в самозванстве. Работая в фитнес-клубе, решила срубить денег на преподавательской стезе. Якобы она представитель московской фирмы, под этой вывеской открыла платные курсы, набрала учениц, хотя лицензии на ведение подобной деятельности не имела. Судя по всему, в Москве утянула бланки фирмы, в которой училась, и парила ими мозги своим курсисткам. Одна из учениц разнюхала липу. Возбудили уголовное дело, «Степную губернию» угораздило высунуться с информацией о нём, в которой, ничтоже сумняшися, обвиняемой дана характеристика: мошенница, личность с нравственными изъянами. Всего-то пару-тройку абзацев... Газета высунулась с этой информацией, а уголовное дело раз – и прекратили.

Я в него заглядывал, зафиксирован факт изъятия при обыске у Самосадовой три тысячи долларов. Однако о возврате денег владельцу ни слова. А дело прекращено. Куда девались баксы? Это, само собой, не моя забота. У меня о другом голова болит: Самосадова подала на газету в суд о возмещении морального ущерба. Мотивировка: из-за клеветнической информации, растиражированной в тридцати тысячах экземпляров, она лишилась высокооплачиваемой работы, опорочено честное имя, ей теперь трудно устроиться в нашем городе. Самосадова не стала мелочиться, потребовала компенсировать моральный ущерб суммой равной сорока тысячам долларов.

Ситуация с Самосадовой получилась не из лёгких. Позарез нужно посмотреть уголовное дело, да никто в УВД не примет тебя с распростёртыми объятиями. Мало ли что я юрист из газеты. Не обязаны. По своим каналам договорился, поехал. Захожу в кабинет начальника следственного подразделения, чин на уровне подполковника...

– Дать дело не могу, – отреагировал на мою просьбу, – вопросы задавайте, на какие можно ответчу.

Нерадостное начало. В деле могут фигурировать нюансы, о которых я и не догадываюсь. По тону начальника видно: настроен поскорее от меня отделаться.

И вдруг запел телефон, он трубку поднимает... Звонок из Москвы, из министерства. Начальник сидел боком ко мне, отвернулся к окну, чтобы проситель-посетитель не мозолил

глаза, не портил впечатления от разговора (он, слышу, позитивного характера) и увлечённо чирикает в трубку. Дело Самосадовой лежит на стуле, как и другие дела. У стены ряд стульев, на одном папка с делом Самосадовой. Я сижу на расстоянии вытянутой руки. Протягиваю её, открываю папку...

Начальник болтал минут двадцать. Я тем временем узнал, что работала Самосадова в фитнес-клубе «Африка», по адресу такому-то... Увидел бумаги, из которых явствовало, что работник она не идеальный... Всё дело пролистал... Хозяин кабинета разговор прекратил, поворачивается ко мне, официальным тоном с некоторым раздражением произносит:

– Ну, задавайте вопросы.

Дескать, у меня на вас лишней секунды нет.

– По оглавлению посмотрел, – поднимаюсь я со стула, – больше ничего меня не интересует.

Из УВД еду в «Степную губернию», пишу на Самосадову характеристику и отправляюсь в фитнес-клуб «Африка».

И... ё-моё, в кресле начальника, кого, вы думаете, встречаю? Иванова – любителя женской поэзии. Потом-то я навёл справки: он развёлся с женой и сошёлся с молодой хваткой женщиной. Она окончила физкультурный институт, гимнастка, массажистка, специалист по всяким аэробикам. При этом имелись у неё дрожжи в виде папы, который в процессе приватизации свой неслабый кусочек пирога ухватил и любимой доче выделил стартовый капитал. Замутила она фитнес-клуб, куда перетащила Иванова. Не массажистом, ко-

нечно. И не женские стихи читать дамочкам. Иванов плюнул на газетное ремесло, сколько можно бумагу марать, пора деньги делать на женской красоте. Судя по офису, неслабо дело шло. В фэн-шухах не разбираюсь, но кабинет у Иванова стильно оформлен, с ненавязчивым авангардизмом. Сам Иванов в дорогом костюме, шикарный галстук с модным узором.

Я сделал вид, что страшно обрадовался при виде старого знакомого. Дескать, сколько лет и сколько зим, какая замечательная встреча. Иванов не выказал восторгов ни сразу, ни после, когда я представился юристом газеты, судящейся с бывшей его работницей.

Я будто бы не замечаю холодного приёма, держу себя на правах земляка-коллеги, и начинаю расспрашивать о Самосадовой, что за работница, чем отличилась в «Африке?» Раскачиваю Иванова. Он поначалу хотел отделаться от меня, дескать, работала и работала, потом сказал:

– Саморекламы выше крыши, на деле больше по верхам. Яркий представитель современной молодёжи: дай денег много и сразу.

Я ловлю момент и прошу характеристику на Самосадову. Категорически отказался. Нет и нет. Даже дёрнулся подняться из кресла – дескать, разговор окончен, пока-пока. Я сижу как вкопанный. Давать характеристику на свою работницу Иванова может принудить только суд. Я не суд, зато кнопки Иванова знаю. Обкомом партии его теперь не возьмёшь, иг-

раю на современных нотах.

– Сейчас был в областном управлении внутренних дел, – докладываю, – у подполковника Сараева, читал уголовное дело Самосадовой, там фигурирует и ваша фамилия.

Слукавил, фамилии Иванова не было, только фирма.

– Уголовное дело прекращено, – говорю, напирая на «уголовное», – однако, защищая газету, мне придётся обжаловать прекращение уголовного дела, его возобновят, будут трепать ваше честное имя, вызывать в суд. О моей квалификации как юриста по подобным вопросам можете узнать у ваших бывших коллег-газетчиков. Скажу честно, при определённом раскладе мне понадобится организовать пиар-акцию по иску Самосадовой. О вашей фирме, о вас напишут в газетах. Вам нужна такая реклама? Думаю – нет. Если мне удастся на начальной стадии отклонить иск, ничего этого не будет в помине.

Вижу, занервничал, заперебирал бумажки на столе.

– Ведь не была Самосадова хорошим работником? – говорю.

– Какой там работник! – раздражённо бросил. – Ленивая. Истерику могла закатить. Клиенты жаловались...

– Вот и дайте эту характеристику в письменном виде?

Вроде и не прочь дать, и начинает юлить:

– Хорошо, приезжайте в понедельник, подготовлю...

А была пятница, вторая половина дня...

– Зачем в понедельник, – достаю из портфеля характери-

стику.

Иванов прочитал, но менжуется. И самому выставляться в суде ой как не охота, и совесть вроде как вякает, бумага-то официальная, это не досужий разговор на лавочке. И ко мне питает не лучшие чувства.

– Конечно, газета накосячила, – говорю, – но вы же сами газетчик, знаете, если журналист по каждому случаю будет проводить расследование, он без хлеба останется. Тем более криминал у Самосадовой имел место. Следователю бы покопать. Но делу хода не дали. Куда-то девались три тысячи долларов, что изъяли при обыске у обвиняемой. Самосадовой сидеть бы радоваться, что дело закрыли, она на газету бочку покатила.

Выдал эту тираду и опять за рыбу деньги:

– Подпишите характеристику, и больше вас это касаться не будет.

Кривясь, подписал, штамп «Африки» поставил, подаёт листок и хихикает на прощанье:

– А вы, я гляжу, опять неплохо устроились!

– Да и вы, – окинул я офис взглядом, – тоже не бедствуете.

Характеристика разбивала все доводы истицы о её расчудесных качествах профессионала и работника.

Перед заседанием суда я предложил Самосадовой забрать иск.

– Дело моё выигрышное, – не захотела она слушать, – доведу до победного конца.

Её ошибкой было – адвоката взяла из специализирующихся по уголовным делам. У них стиль – все козыри на концевку держать, а в делах гражданских адвокат должен активничать с самого начала. Судья задаёт вопросы мне, задаёт Самосадовой – адвокат молчит. А Самосадова заливается... Уж такая она хорошая и расхорошая. Расхваливает себя, какая она замечательная работница, тогда как газета всё переврала и выставила её в клеветнических тонах, оболгала честное имя.

Я дожидаюсь своего момента, судья даёт слово, достаю характеристику, подписанную Ивановым, зачитываю бесстрастным голосом и ходатайствую приобщить документ к делу.

С Самосадовой истерика. Натуральная. Не исключая, у них с Ивановым были не только производственные отношения, у неё вырвалось сквозь слёзы:

– Как он мог после всего?

Адвокат, наконец-то, раскрыла рот и ходатайствует вызвать Иванова на следующее заседание.

Ох, покостерил бы Иванов меня. Посверкал бы глазами...

Истица ревёт безостановочно. Куда девалась самонадеянность, граничащая с наглостью... Села на стул, закрыло лицо ладонями и ревёт...

Судья вынуждена объявить перерыв.

Самосадова сумочку схватила, выскочила... И не появилась в зале заседаний после окончания перерыва. Адвокат

объясняет:

– Галя в коридоре плачет.

Судья добавляет пять минут. Истицы снова нет. Я прошу занести в протокол факт неуважения истца к суду...

Адвокат потом сказала мне:

– Знала бы, ни за что не согласилась...

Больше Самосадова в суд не пришла, и дело было закрыто.

Повезло Иванову...

Точка притяжения

Как-то сломалась машина, а я торопился в ТЮЗ, переговорить с актёром, обиженным газетчиками. Поехал в театр на маршрутке, у актёра амбиции через край, разговор получился трудным, но удалось договориться полюбовно. После встречи выхожу из театра... Весь июль напролёт шли дожди. Откуда что бралось в небесах... И льёт и льёт, и льёт и льёт. Шутники предвещали: ещё месячишко и Западно-Сибирская низменность превратится в Атлантиду. Однако в августе небо закрыло хляби, циклоны по проторенной дорожке тащившие воду, сменили околосемные маршруты, и наконец-то пришло сибирское лето. Тепло, сухо, солнышко с утра до вечера. В такой день я вышел из ТЮЗа, на душе хорошо – дело улажено, погода распрекрасная, и ноги сами понесли к гостинице «Сибирь», месту моего чудесного падения. Здание года два ремонтировалось, стояло, обезображенное строительными лесами, завешанное зелёной сеткой. Казалось, конца края не будет долгоремонту, но неделю назад сетку сняли, леса убрали... Гостиница смотрелась «с иголочки»...

Я задрал голову, вон бабушкино окно на четвёртом этаже, почти квадратное... Как и остальные – пластиковое... Коричневые рамы, сверкающие новизной стёкла...

Бабушка рассказывала, горшок от удара об асфальт раз-

летелся вдребезги. Цветок несовместим был с жизнью, а моя голова вместе с содержимым выпуталась... И вот уже пятьдесят три года после того падения смотрит на белый свет...

– Тебя ангелы придержали, – говорила мне бабушка в детстве...

– Кто это ангелы? – спрашивал у неё.

– Невидимые сказочные существа с крыльями.

– И они могут ещё раз поймать, если прыгнуть?

– Ни в коем случае, Рома! Ангелы один раз в жизни помогают мальчику, да и то не всякому...

Считаю, с того падения я научился держать удар. Как ни колотила судьба, но вполне удалась жизнь, грех обижаться...

А место падения будто притягивало все годы. Цензура вообще находилась в соседнем здании. «Инспекция...» – в пяти минутах ходьбы, «Степная губерния» чуть подальше, но тоже в этом районе... Так что, получается, головой поставил точку притяжения...

Стою на памятном месте, философствую и вдруг боковым зрением вижу... Вот кого притягивать к себе не хотел... В мою сторону летел Лазарев. Тот самый поэт, неистребимо одержимый рифмоплётством, что донимал меня в цензуре. Уже совсем седая шевелюра, ножки ещё кривее, папочка в руках, в которой теснились эпохальные творения...

Нет уж, нет уж!

Рискуя попасть под колёса, я перебежал улицу перед носом у 63-го автобуса и зарысил в сторону ТЮЗа... Надо

мне галиматью выслушивать... Хватит-хватит-хватит, цензура приказала долго жить... Мы теперь по другому ведомству...

– Вы не поняли, Роман Анатольевич! – крикнуло за спиной. – У меня украли стихи! Плагиат! Знающие люди рекомендовали вас взять в защитники моей попранной поэтической чести и достоинства!

Я нырнул от «попранной» в ТЮЗ, в двери служебного входа, пробежал по театру, вышел через парадное и прыгнул в первое попавшееся такси...

И разобрал хохот, сижу на переднем сиденье и ржу. Конечно, Лазарев, с его фанатизмом, отыщет меня, естественно, прилипнет баннным листом, и опять придётся отшивать... Еду и хохочу, таксист глаз косит: не из психушки ли клиент?..

– Не беспокойтесь, – говорю, – хоть и падал с четвёртого этажа головой на асфальт, на 1-й Линии не лежал...

– Ничего, – многозначительно сказал таксист, – все там будем при такой жизни...

И я перестал смеяться...

В оформлении обложки использован рисунок Владимира Удалова